



Н.С. ЛЕСКОВ



Николай Семёнович Лесков

Скоморох Памфалон

Душераздирающая история мнимо умершей жены, жестокосердного мужа и пылкого любовника дополняется неким скоморохом... Скоморох, отказавшись от спасения души своей, гибнущей, как ему кажется, в несправедном ремесле, отдаёт ниспосланные ему деньги, способные стать для него воротами в праведную жизнь, на выкуп из рабства несчастной Магны, помогая ей воссоединиться с семьёю.

Сама легенда в устах скомороха становится рассказом о его собственном нечестивом и грешном падении, рассказом о заглублении своей души. Да и вся эта история уходит на второй план, на первый же выдвигаются горделивый самовольный столпник Ермий, в гордыне думающий на столпе о тщете своих усилий и беззаботный скоморох из Дамаска, явленный столпнику, как пример благодати, записанный в книгу живых.

Если Ермий скорбит о судьбах ближних, боготворя себя самого, по словам Лескова, «унижал и план и цель творения и себя почитал совершеннейшим», то Памфалон, непрестанно корящий себя за беспутство и грех, настолько любит других, что избивается за это медными прутьями. <...> Памфалон становится тем, кто может, махнув шутовскою епанчей, уничтожить «пре-

дел» Ермия – напачканное во весь небосклон большими еврейскими литерами, словно углём и сажей... слово: «самоmnение».

Содержание

Глава первая	0007
Глава вторая	0009
Глава третья	0012
Глава четвертая	0014
Глава пятая	0019
Глава шестая	0022
Глава седьмая	0026
Глава восьмая	0032
Глава девятая	0036
Глава десятая	0044
Глава одиннадцатая	0059
Глава двенадцатая	0065
Глава тринадцатая	0071
Глава четырнадцатая	0078
Глава пятнадцатая	0081
Глава шестнадцатая	0084
Глава семнадцатая	0087
Глава восемнадцатая	0091
Глава девятнадцатая	0096
Глава двадцатая	0101
Глава двадцать первая	0104
Глава двадцать вторая	0107
Глава двадцать третья	0108
Глава двадцать четвертая	0111
Глава двадцать пятая	0114

Глава двадцать шестая	0117
Глава двадцать седьмая	0121
Глава двадцать восьмая	0124
Глава двадцать девятая	0127

Николай Лесков Скоморох Памфалон

Слабость велика, сила ничтожна. Когда человек рождается, он слаб и гибок; когда он умирает, он крепок и черств. Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно, и когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит.

Лао-тзы

Глава первая

В царствование императора Феодосия Великого жил в Константинополе один знатный человек, «патрикий и епарх», по имени Ермий. Он был богат, благороден и знатен; имел прямой и честный характер; любил правду и ненавидел притворство, а это совсем не шло под стать тому времени, в котором он жил.

В то отдаленное время в Византии, или в нынешнем Константинополе, и во всем царстве Византийском было много споров о вере и благочестии, и за этими спорами у людей разгорались страсти, возникали распри и ссоры, а от этого выходило, что хотя все заботились о благочестии, но на самом деле не было ни мира, ни благочестия. Напротив того, в низших людях тогда было много самых скверных пороков, про которые и говорить стыдно, а в высших лицах царило всеобщее страшное лицемерие. Все притворялись богобоязненными, а сами жили совсем не по-христиански: все злопамятствовали, друг друга ненавидели, а к низшим, бедным людям не имели

сострадания; сами утопали в роскоши и нимало не стыдились того, что простой народ в это самое время терзался в мучительных нуждах. Обеднявших брали в кабалу или в рабство, и нередко случалось, что бедные люди даже умирали с голода у самых дверей пировавших вельмож. При этом простолюдины знали, что именитые люди и сами между собой беспрестанно враждовали и часто губили друг друга. Они не только клеветали один на другого царю, но даже и отравляли друг друга отравками на званых пирах или в собственных домах, через подкуп кухарей и иных приспешников.

Как сверху, так и снизу все общество было исполнено порчей.

Глава вторая

У упомянутого Ермия душа была *мирная*, и к тому же он ее укрепил в любви к людям, как заповедал Христос по Евангелию. Ермий желал видеть благочестие настоящее, а не притворное, которое не приносит никому блага, а служит только для одного величания и обмана. Ермий говорил: если верить, что Евангелие божественно и открывает, как надо жить, чтобы уничтожить зло в мире, то надо все так и делать, как показано в Евангелии, а не так, чтобы считать его хорошим и правильным, а самим заводить наперекор тому совсем другое: читать «оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем», а вместо того ничего никому не оставлять, а за всякую обиду злобиться и донимать с ближнего долги, не щадя его ни силы, ни живота.

Над Ермием за это все другие вельможи стали шутить и подсмеиваться; говорили ему: «Верно, ты хочешь, чтобы все сделались нищими и стояли бы нагишом да друг дружке рубашку перешвыривали. Так нельзя в государстве». Он же отвечал: «Я не говорю про го-

сударство, а говорю только про то, как надо жить по учению Христову, которое все вы зовете божественным». А они отвечали: «Мало ли что хорошо, да невозможно!» И спорили, а потом начали его выставлять перед царем, как будто он оглушел и не годится на своем месте.

Ермий начал это замечать и стал раздумывать: как в самом деле трудно, чтобы и в почести остаться и самому вести жизнь по Христову учению?

И как только начал Ермий сильнее вникать в это, то стало ему казаться, что этого даже и нельзя совсем вместе соединить, а надо выбирать из двух одно любое: или оставить Христово учение, или оставить знатность, потому что вместе они никак не сходятся, а если и сведешь их насильно на какой-нибудь час, то они недолго поладят и опять разойдутся дальше прежнего. «Уйдет один бес и опять воротится, и приведет еще семерых с собою». А с другой стороны глядя, Ермий соображал и то, что если он станет всех обличать и со всеми спорить, то войдет он через то всем в остылицу, и другие вельможи обнесут его тогда пе-

ред царем клеветами, назовут изменником государству и погубят.

«Угожу одним, – думает, – не угожу другим: если с хитрыми пойду – омрачу свою душу, а если за нехитрых стану – то им не пособлю, а себе беду наживу. Представят меня как человека злоумышленного, который сеет непокойствие, а я могу не стерпеть напраслины да стану оправдываться, и тогда душа моя озверевает, и я стану обвинять моих обвинителей и сделаюсь сам такой же злой, как они. Нет, пусть так не будет. Не хочу я никого ни срамить, ни упрекать, потому что все это противно душе моей; а лучше я совсем с этим покончу: пойду к царю и упрошу его позволить мне сложить с себя всякую власть и доживу век мой мирно где-нибудь простым человеком».

Глава третья

Как Ермий задумал, так он и сделал по своему рассуждению. Царю Феодосию он ни на что не жаловался и никого перед ним не обвинял, а только просился отставить его от дел. Царь уговаривал Ермия остаться при должности, но потом отпустил. Ермий получил полную отставку («отложи от себя всякую власть»). А в это же самое время скончалась жена Ермия, и бывший вельможа, оставшись один, начал рассуждать еще иначе:

«Не указание ли мне это свыше? – подумал Ермий. – Царь меня отпустил от служебных забот, а господь разрешил от супружества. Жена моя умерла, и нет у меня никого такого в родстве моем, для которого мне надо было бы стараться по своим имениям. Теперь я могу идти резвее и дальше к цели евангельской. На что мне богатство? С ним всегда неминуемые заботы, и хоть я от служебных дел отошел в сторону, а, однако, богатство заставит меня о нем заботиться и опять меня втравит в такие дела, которые не годятся тому, кто хочет быть учеником Христовым».

А богатства у Ермия было очень много («бе бо ему богатство многосущное») – были у него и дома, и села, и рабы, и всякие драгоценности.

Ермий всех своих рабов отпустил на волю, а все прочее «богатство многосущное» продал и деньги разделил между нуждавшимися бедными людьми.

Поступил он так потому, что хотел «совершен быть», а тому, кто желает достичь совершенства, Христос коротко и ясно указал один путь: «Отдай все, что имеешь, и иди за мною».

Ермий все это исполнил в точности, так что даже никакой малости себе не оставил, и радовался тому, что это совсем не показалось ему жалко и трудно. Только начало было дорого сделать, а потом самому приятно стало раздавать все, чтобы ничто не путало и ничто не мешало идти налегке к высшей цели евангельской.

Глава четвертая

Освободясь и от власти и от богатства, Ермий покинул тайно столицу и пошел искать себе уединенного места, где бы ему никто не мешал уберечь себя в чистоте и святости для прохождения богоугодной жизни.

После долгого пути, совершенного пешими и босыми ногами, Ермий пришел к отдаленному городу Едессу и совсем неожиданно для себя нашел здесь «некий столп». Это была высокая каменная скала, и с расщелиной, и в середине расщелины было место, как только можно одному человеку установиться.

«Вот, – подумал Ермий, – это мне готовое место». И сейчас же взлез на этот столп по ветхому бревнышку, которое кем-то было к скале приставлено, и бревно оттолкнул. Бревно откатилось далеко в пропасть и переломилось, а Ермий остался стоять и простоял на столпе тридцать лет. Во все это время он молился богу и желал позабыть о лицемерии и о других злобах, которые он видел и которыми до боли возмущался.

С собою Ермий взял на скалу только одну

длинную бечевку, которою он цеплялся, когда лез, и бечевка эта ему пригодилась.

На первых днях, как еще Ермий забыл убрать эту бечевку, заметил ее пастух-мальчик, который пришел сюда пасти козлят. Пастух начал эту бечевку подергивать, а Ермий его стал звать и проговорил ему:

– Принеси мне воды: я очень жажду.

Мальчик подцепил ему свою тыквенную пустышку с водой и говорит:

– Испей и оставь себе тыкву.

Так же он дал ему и корзинку с горстью черных терпких ягод.

Ермий поел ягод и сказал:

– Бог послал мне кормильца.

А мальчик как только пригнал вечером в село стадо козлят, так сейчас же рассказал своей матери, что видел на скале старика, а Пастухова мать пошла на колодец и стала о том говорить другим женщинам, и так сделалось известно людям о новом столпнике, и люди из села побежали к Ермию и принесли ему чечевицы и бобов больше, чем он мог съесть. Так и пошло далее.

Только Ермий спускал сверху на длинной

бечеве плетеную корзину и выдолбленную тыкву, а люди уже клали ему в эту корзину листьяв капусты и сухих, не вареных семян, а тыкву его наполняли водою. И этим бывший византийский вельможа и богач Ермий питался тридцать лет. Ни хлеба и ничего готовленного на огне он не ел и позабыл и вкус вареной пищи. По тогдашним понятиям находили, будто это приятно и угодно богу. О своем розданном богатстве Ермий не жалел и даже не вспоминал о нем. Разговоров он не имел ни с кем никаких и казался строг и суров, подражая в молчании своим Илии.

Поселяне считали Ермия способным творить чудеса. Он им этого не говорил, но они так верили. Больные приходили, становились в тени его, которую солнце бросало от столпа на землю, и отходили, находя, что чувствуют облегчение. А он все молчал, вперяя ум в молитву или читая на память три миллиона стихов Оригена и двести пятьдесят тысяч стихов Григория, Пиерия и Стефана.

Так проводил Ермий дни, а вечером, когда сваливал пеклый жар и лицо Ермия освежала прохлада, он, окончив свои молитвы и раз-

мышления о боге, думал иногда и о людях. Он размышлял о том: как за эти тридцать лет зло в свете должно было умножиться и как под покровом ханжества и пустосвятства, заменяющего настоящее учение своими выдумками, теперь наверно иссякла уже в людях всякая истинная добродетель и осталась одна форма без содержания.

Впечатления, вынесенные столпником из покинутой им лицемерной столицы, были так неблагоприятны, что он отчаялся за весь мир и не замечал того, что через это отчаяние он унижал и план и цель творения и себя одного почитал совершеннейшим.

Повторяет он наизусть Оригена, а сам думает: «Ну, пусть так – пусть земной мир весь стоит для вечности, и люди в нем, как школяры в школе, готовятся, чтобы явиться в вечности и там показать свои успехи в здешней школе. Но какие же успехи они покажут, когда живут себялюбиво и злобно, и ничему от Христа не учатся, и языческих навыков не позабывают? Не будет ли вечность впусте?» Пусть утешает Ориген, что не мог же впасть в ошибку творец, узрев, «яко все добро зело»,

если оно на самом деле никуда не годится, а Ермию все-таки кажется, что «весь мир лежит во зле», и ум его напрасно старается прозреть: «кацы суть Богу угождающие и вечность уллучившие?»

Никак не может Ермий представить себе таковых, кои были бы достойны вечности, все ему кажутся худы, все с злою склонностию в жизнь пришли, а здесь, живучи на земле, еще хуже перепортились.

И окончательно взяло столпника отчаяние, что вечность запустеет, потому что нет людей, достойных перейти в оную.

Глава пятая

И вот однажды, когда, при опускающемся покрове ночи, столпник «усильно подвигся мыслию уведети: кацы суть иже Богу угрожающи», он приклонился головою к краю расщелины своей скалы, и с ним случилась необыкновенная вещь: повеяло на него тихое, ровное дыхание воздуха, и с тем принесли к его слуху следующие слова:

– Напрасно ты, Ермий, скорбишь и ужасаешься: есть тацы, иже добре Богу угрожают и в книгу жизни вечной вписаны.

Столпник обрадовался сладкому голосу и говорит:

– Господи, если я обрел милость в очах твоих, то дозвожь, чтобы мне был явлен хоть один такой, и тогда дух мой успокоится за все земное сотворение.

А тонкое дыхание снова дышит на ухо старцу:

– Для этого тебе надо забыть о тех, коих ты знал, и сойти со столпа да посмотреть на человека Памфалона.

С этим дыхание сникло, а старец воскло-

нился и думает: взаправду ли он это слышал, или это ему навеяно мечтою? И вот опять проходит холодная ночь, проходит и знойный день, и наступили новые сумерки, и опять поник головой Ермай и слышит:

– Спускайся вниз, Ермай, на землю, тебе надо пойти посмотреть на Памфалона.

– Да кто он такой, этот Памфалон?

– А вот он-то и есть один из тех, каких ты желаешь видеть.

– И где же обитает этот Памфалон?

– Он обитает в Дамаске.

Ермай опять встрепенулся и опять не был уверен, что это ему слышно не в мечте. И тогда он положил в своем уме испытать это дело еще, до трех раз, и ежели и в третий раз будет к нему такая же внятная речь про Памфалона, тогда уже более не сомневаться, а слезать со скалы и идти в Дамаск.

Но только он решил обстоятельно дознаться: что это за Памфалон и как его по Дамаску разыскивать.

Прошел опять знойный день, и с вечернею прохладой снова зазвучало в духе хлада тонка имя Памфалона.

Неведомый голос опять говорит:

– Для чего ты, старец, медлишь, для чего не слезаешь на землю и не идешь в Дамаск смотреть Памфалона? А старец отвечает:

– Как же могу я идти и искать человека мне неизвестного?

– Человек тебе назван.

– Назван мне человек Памфалоном, а в таком великом городе, как Дамаск, разве один есть Памфалон? Которого же из них я стану спрашивать?

А в духе хлада тонка опять звучит:

– Это не твоя забота. Ты только скорее слезай вниз да иди в Дамаск, а там уже все знают этого Памфалона, которого тебе надо. Спроси у первого встречного, его тебе всяк покажет. Он всем известен.

Глава шестая

Теперь, после третьего такого переговора, Ермий более уже не сомневался, что это такой голос, которого надо слушаться. А насчет того, к какому именно Памфалону в Дамаске ему надо идти, Ермий более не беспокоился. Памфалон, которого «все знают», без сомнения есть какой-либо прославленный поэт, или воин, или всем известный вельможа. Словом, Ермию размышлять более было не о чем, а на что он сам напросился, то надо идти исполнять.

И вот пришлось Ермию после тридцати лет стояния на одном месте вылезать из каменной расщелины и идти в Дамаск...

Странно, конечно, было такому совершенному отшельнику, как Ермий, идти посмотреть человека, живущего в Дамаске, ибо город Дамаск по-тогдашнему в отношении чистоты нравственной был все равно что теперь сказать Париж или Вена – города, которые святостью жизни не славятся, а слывут за гнездилища греха и пороков, но, однако, в древности бывали и не такие странности, и бывало,

что посты благочестия посылались именно в места самые злочестивые.

Надо идти в Дамаск! Но тут вспомнул Ермий, что он наг, ибо рубище его, в котором он пришел тридцать лет тому назад, все истлело и спало с его костей. Кожа его изгорела и почернела, глаза одичали, волосы подлезли и выцвели, а когти отрасли, как у хищной птицы... Как в таком виде показаться в большом и роскошном городе?

Но голос его не перестает руководствовать и раздается издали:

– Ничего, Ермий, иди: нагота твоя найдет тебе покрывало.

Взял Ермий свою корзиночку с сухими зернами и тыкву и кинул их вниз на землю, а затем и сам спустился со столпа по той самой веревочке, по которой таскал себе снизу приносимую пищу.

Тело столпника уже так исхудало, что его могла сдержать тонкая и полусгнившая веревочка. Она, правда, потрескивала, но Ермий этого не испугался: он благополучно стал на землю и пошел, колеблясь как ребенок, ибо ноги его отвыкли от движения и потеряли

твёрдость.

И шел Ермий по безлюдной, знойной пустыне очень долго и во весь переход ни разу никого не встретил, а потому и не имел причины стыдиться своей наготы; приближаясь же к Дамаску, он нашел в песках выветрившийся сухой труп и возле него ветхую «козью милоть», какие носили тогда иноки, жившие в общежитиях. Ермий засыпал песком кости, а козью милоть надел на свои плечи и обрадовался, увидев в этом особое о нем промышление.

К городу Дамаску Ермий стал приближаться, когда солнце уже начало садиться. Старец немножко не соразмерил ходы и теперь не знал, что ему сделать: поспешать ли скорее идти или не торопиться и подождать лучше утра. Очам казалось близко видно, а ногам пришлось обидно. Поспешал Ермий дойти за светло, а поспел в то самое время, когда красное солнце падает, сумрак густеет и город весь обвивает мглой. Точно он весь в беспроглядный грех погружается.

Страшно сделалось Ермию – хоть назад беги... И опять ему пришла в голову дума: не

было ли все, что он слышал о своем путешествии, одною мечтою или даже искушением? Какого праведника можно искать в этом шумном городе? Откуда тут может быть праведность? Не лучше ли будет бежать отсюда назад, влезть опять в свою каменную щелку, да и стоять, не трогаясь с места.

Он было уже и повернулся, да ноги не идут, а в ушах опять «дыхание тонко»:

– Иди же скорей лобызай Памфалона в Дамаске.

Старик снова обернулся к Дамаску, и ноги его пошли.

Пришел Ермий к городской стене как раз в ту минуту, когда городской страж наполовину ворота захлопнул.

Глава седьмая

Насилу успел бедный старик упросить сторожа, чтобы он позволил ему пройти в ворота, и то отдал за это свою корзину и тыкву; а теперь сам совсем безо всего очутился в совершенно ему незнакомом и ужасно многогрешном городе.

Ночи на юге спускаются скоро, сумерек почти нет, и темнота бывает так густа, что ничего нельзя видеть. Улицы в то время, когда было это происшествие, в восточных городах еще не освещались, а жители запирали свои дома рано. Тогда на улицах бывало очень небезопасно, и потому обыватели крепко закрывали все входы в дом, чтобы впотьмах не забрался какой-нибудь лихой человек и не обокрал бы или бы не убил и не сжег дом. Ночью же входов или совсем не отпирали, или же отпирали только запоздавшим своим домашним или друзьям, и то не иначе, как удостоверясь, что стучится именно тот человек, которого впустить надо.

Отворенными поздно оставались только двери развратниц, к которым путь открыт

всем, и чем больше идут к ним на свет, тем им лучше.

Старец Ермий, попав в Дамаск среди густой тьмы, решительно не знал: где ему приютиться до утра. Были, конечно, в Дамаске гостиницы, но Ермий не мог ни в одну из них постучаться, потому что там спросят с него плату за ночлег, а он не имел у себя никаких денег.

Остановился Ермий и, размыслив, что бы такое в его положении возможно сделать, решился попроситься ночевать в первый дом, какой попадетсЯ.

Так он и сделал: подошел к ближайшему дому и постучался.

Его опросили из-за двери:

– Кто там стучится? Ермий отвечает:

– Я бедный странник.

– Ах, бедный странник! Не мало вас шляется. Чего же тебе надо?

– Прошу приюта.

– Так ты не туда попал. Иди за этим в гостиницу.

– Я беден и не могу платить в гостинице.

– Это плохо, но иди в таком случае к тем,

кто тебя знает: они тебя, может быть, пустят.

– Да меня здесь никто не знает.

– А если тебя здесь никто не знает, то не стучи и у нас понапрасну, а уходи скорей прочь.

– Я прошусь во имя Христа.

– Оставь, пожалуйста, оставь это имя. Много вас тут ходит, всё Христа вспоминаете, а наместо того лжете и этим именем после всякое зло прикрываете. Уходи прочь, нет у нас для тебя приюта.

Ермий подошел к другому дому и здесь опять стал стучать и проситься.

И здесь тоже опять спрашивают его из-за закрытых дверей:

– Чего тебе надо?

– Изнемогаю, я бедный странник... пустите отдохнуть в доме!

Но опять и тут ему тот же ответ: иди в гостиницу.

– У меня денег нет, – отвечал Ермий и произнес Христово имя, но оно вызвало только укоры.

– Полно, полно выкликать это имя, – отвечали ему из-за дверей второго дома, – все ле-

нивцы и злодеи нынче этим именем прикрываются.

– Ах, – отозвался Ермий, – поверьте, что я никому никакого зла не сделал и не делаю: я пришел прямо из пустыни.

– Ну, если ты из пустыни, то там бы тебе и оставаться. Напрасно ты сюда и пришел.

– Я не своею волею пришел, а имел повеление.

– Ну, так иди к тому, куда позван, а нас оставь в покое; мы тех, кои старцами сказываются и в козьих милотях ходят, боимся: вы сами очень святы, а за вами за каждым седьмь приставных бесов ходит.

«Ого! – подумал Ермий, – как время изменило обычаи. Верно, ныне совсем уже нет старого привета странным. Все уже знают пустынное предание, что за аскетом вслед более бесов ходит, чем за простым грешником, а через это не лучше, а хуже стало. И вот я – пустынный, простоявший тридцать лет, – в тени столпа моего люди получали исцеления, а меня никто не пускает под крышу, и я не только могу быть убит от злодеев, но еще горше смерти могу быть оскорблен и обесчещен от

извративших природу бесстыдников. Нет, теперь я уже ясно вижу, что я поддался насмешке сатаны, что я был послан сюда не для пользы души моей, а для всецелой моей пагубы, как в Содом и Гоморру».

А в это самое время Ермий тоже замечает, что кто-то во тьме спешно перебегает улицу и, смеясь, говорит:

– Ну, насмешил ты меня, старичина!

– Чем это? – спросил Ермий.

– Да как же, ты так глуп, что просишься, чтобы тебя пустили ночевать в дома людей высокородных и богатых! Видно, ты и в самом деле, должно быть, ничего в жизни не понимаешь.

Столпник подумал: «Это, пожалуй, вор или блудодей, а все-таки он разговорчив: дай я его спрошу, что мне сделать, где найти приют».

– Ну, ты постой-ка, – сказал Ермий, – и кто бы ты ни был, скажи мне, нет ли здесь таких людей, которые известны за человеколюбцев?

– Как же, – отвечает, – есть здесь и таковые.

– Где же они?

– А вот ты сейчас у их домов стучался и с ними разговаривал.

– Ну, значит, их человеколюбство плохо.

– Таковы все показные человеколюбцы.

– А не известны ли тебе, кои боголюбивы?

– И таковые известны.

– Где же они?

– Эти теперь, по заходе солнечном, на молитву стали.

– Пойду же я к ним.

– Ну, не советую. Боже тебя сохрани, если ты своим стуком помешаешь их стоянию на молитве, тогда слуги их за то свалят тебя на землю и нанесут тебе раны.

Старец всплеснул руками:

– Что же это, – говорит, – человеколюбцев никак в своей нужде не уверишь, а набожных от стояния не отзовешь, ночь же ваша темна, и обычаи ваши ужасны. Увы мне! увы!

– А ты вместо того, чтобы унывать и боголюбцев разыскивать, – *иди к Памфалону.*

– Как ты сказал? – переспросил отшельник и опять получил тот же ответ:

– *Иди к Памфалону.*

Глава восьмая

Рад был отшельник услышать про Памфалона. Стало быть, шел он не даром. Но кто, однако, сам этот во тьме говорящий: хорошо, если это путеводительный ангел, а может быть, это самый худший бес?

– Мне, – говорит Ермий, – Памфалона и нужно, потому что я к нему послан, но только я не знаю: тот ли это Памфалон, о котором ты говоришь?

– А тебе что о твоём Памфалоне сказано?

– Сказано много, чего я не стану всякому пересказывать, а примета дана такая, что его здесь все знают.

– Ну, а если так, то я говорю о том самом Памфалоне, про которого тебе сказано. Он один только и есть такой Памфалон, которого все знают.

– Почему же он всем так известен?

– А потому, что он приятный человек и всюду с собою веселье ведет. Без него нет здесь ни пира, ни потехи, и всем он любезен. Чуть где пса его серого с длинной мордой слышат, когда он бежит, гремя позвонцами,

все радостно говорят: вот Памфалонова Акра бежит! сейчас, значит, сам Памфалон придет, и веселый смех будет.

– А для чего же он пса при себе водит?

– Для большего смеха. Его Акра чудесная, умная и верная собака, она ему людей веселить помогает. А то еще у него есть разноперая птица, которую он на длинном шесте в обруче носит: тоже и эта дорогого стоит: она и свистом свистит и шипит по-змеиному.

– Зачем же Памфалону все это нужно – и пес и разноперая птица?

– Как же – Памфалону без смешных вещей быть невозможно.

– Да кто же такой у вас этот Памфалон?

– А разве ты сам этого не знаешь?

– Не знаю. Я только слышал о нем в пустыне.

Собеседник удивился.

– Вот как! – воскликнул он. – Значит, уже не только в Дамаске и в других городах, а и далеко в пустыне знают нашего Памфалона! Ну, да так тому и следовало быть, потому что такого другого весельчака нет, как наш Памфалон: никто не может без смеха глядеть, как

он шутит свои веселые шутки, как он мигает глазами, двигает ушами, перебирает ногами, и свистит, и языком щелкает, и вертит завитой головой.

– Перебирает ногами и вертит головою, – повторил пустынный, – лицедейство, телодвижение и скоки... Да кто же он такой наконец?!

– Скоморох.

– Как?.. этот Памфалон!.. К кому я иду!.. Он *скоморох!*

– Ну да, Памфалон скоморох, его потому все и знают, что он по улицам скачет, на площади колесом вертится, и мигает глазами, и перебирает ногами, и вертит головой. Ермий даже свой пустынный посох из рук уронил и проговорил:

– Сгинь! сгинь, дьявол, полно тебе надомной издеваться!

А во тьме говоривший не расслышал этого заклинания и добавил:

– Памфалонов дом сейчас здесь за углом, и у него наверно теперь в окне еще свет светится, потому что он вечером готовится свои скоморошьи снаряды, чтобы делать у гетер

представления. А если у него огня нет, так ты впотьмах отсчитай за углом направо третий маленький дом, входи и ночуй. У Памфалона всегда двери отворены.

И с тем говоривший во тьме сник куда-то, как будто его и не бывало.

Глава девятая

Ермий, пораженный тем, что он услышал о Памфалоне, остался в потемках и думает:

«Что же мне теперь делать? Это невозможно, чтобы человек, для свидания с которым я снят с моего камня и выведен из пустыни, был скоморох? Какие такие добродетели, достойные вечной жизни, можно заимствовать у комедианта, у лицедея, у фокусника, который кривляется на площадях и потешает гуляк в домах, где пьют вино и предаются беспутствам».

Непонятно это, а ночь темна, деться некуда, и – надо идти к скомороху.

Ночной приют пустыннику был необходим, потому что хотя он и привык ко всем непогодам, но на улице в городе в тогдашнее время остаться ночью было гораздо опаснее, чем в нынешнее. Тогда и воры грабили, и ходили такие отчаянные люди, каких видали только пред сожжением Содома и Гоморры. Эти были хуже животных и не щадили никого, и всяк мог ожидать себе от них самого гнусного оскорбления.

Ермий все это помнил и потому очень обрадовался, когда только что завернул за угол, как сейчас же увидел приветный огонек. Свет выходил из одного маленького домика и ярко горел во тьме, как звездочка. Вероятно, тут и живет скоморох.

Ермий пошел на свет и видит: действительно стоит очень маленький, низенький домик, а в нем растворенная дверь, и над нею поднята тростниковая циновка, так что все внутрь этого жилья видно.

Жилье невелико – всего один покой, и притом не высокий, но довольно просторный, и в нем все на виду – и хозяин, и хозяйство, и все его ремесло. И по всему тому, что видно, нетрудно было отгадать, что здесь живет не степенный человек, а именно скоморох.

На серой стене, как раз насупротив раскрытой двери, висела глиняная лампа с длинным рожком, на конце которого горел красным огнем фитиль, питанный жиром. Фитиль этот сильно коптил, и вниз с него падали огненные капли кипящего жира. Вдоль всей стены висели разные странные вещи, которые, впрочем, точнее можно бы назвать

хламом. Тут были уборы и сарацынские, и греческие, и египетские, а также были и разнопестрые перья, и звонцы, и трещотки, и накры, и красные шесты, и золоченые обручи. В одном угле вбит был крюк в потолок, а к нему подцеплен тонкий шест, похожий на большое удилице, а на конце того шеста на веревке другой деревянный обруч, а в обруче спит, загнув голову под крыло, пестрая птица. На ноге у нее тонкая цепь, которою она прикована к обручу. В другом же углу загнуты полколесом гнуткие драницы, и за ними задеты бубны, накры, сопели и еще более странные вещи, которых и назначения даже не мог придумать давно не видавший суеты городской жизни пустынный.

На полу в одном углу постель из циновки, а в другом сундук; на этом сундуке перед скамьею, заменяющею стол, сидит и что-то мастерит сам хозяин жилища.

Вид его странен: он уже человек не молодой, а подстароват, имеет лицо смуглое, добродушное и веселое, с постоянным умеренным выражением и легким блеском глаз, но лицо это раскрашено, а полуседая голова вся

завита в мелкие кудри, и на них надет тонкий медный ободок, с которого вниз висят и бренчат блестящие кружочки и звездочки. Таков Памфалон. Сидит он, нагнувшись над скамьей, на которой разбросаны разные скomorошьи приборы, а перед лицом его маленькая глиняная жаровня и паяло. Он дует ртом через паяльную трубку в жаркие угли и закрепляет одно за другое какие-то мелкие кольца и не замечает того, что на него снаружи давно пристально смотрит строгий отшельник.

Но вот лежавшая в тени у ног Памфалона длинномордая серая собака чутьем почуяла близость стороннего человека, подняла свою голову и, заворчав, встала на ноги, а с этим ее движением на ее медном ошейнике зазвонили звонцы, и от них сейчас же проснулась и вынула из-под крыла голову разноперая птица. Она встрепелулась и не то свистнула, не то как-то резко проскрипела клювом. Памфалон разогнулся, отнял на минуту губы от паяла и крикнул:

– Молчи, Акра! И ты, Зоя, молчи! Не пугайте досужего человека, который приходит

звать нас смешить заскучавших богачей. А ты, легкий посол, – добавил он, возвыся голос, – от кого ты ни жалуешь, подходи скорее и говори сразу: что тебе нужно?

На это Ермий ему ответил со вздохом:

– О Памфалон!

– Да, да, да; я давно Памфалон – плясун, скоморох, певец, гадатель и все, что кому угодно. Какое из моих дарований тебе надобно?

– Ты ошибся, Памфалон.

– В чем я ошибся, приятель?

– Человеку, который стоит у твоего дома, совсем не нужно этих дарований: я пришел совсем не за тем, чтобы звать тебя за скоморошное игрище.

– Ну что ж за беда! Ночь еще впереди – придет кто-нибудь другой и позовет нас и на игрище, и у меня будет завтра заработок, для меня и для моей собаки. А тебе-то, однако, что же такое угодно?

– Я прошу у тебя приюта на ночь и желаю с тобою беседовать.

Услышав эти слова, скоморох оглянулся, положил на сундук дротяные кольца и паяло

и, расставив над глазами ладонь, проговорил:

– Я не вижу тебя, кто ты такой, да и голос твой незнаком мне... Впрочем, в доме моем и в добре будь волен, как в своем, а насчет бесед... Это ты, должно быть, смеешься надо мною.

– Нет, я не смеюсь, – отвечал Ермий. – Я здесь всем чужой человек и пришел издалека для беседы с тобою. Свет твоей лампы привлек меня к твоей двери, и я прошу приюта.

– Что же, я рад, что свет моей лампы светит не для одних гуляк. Какой ты ни есть – не стой больше на улице, и если у тебя нет в Дамаске лучшего ночлега, то я прошу тебя, войди ко мне, чтобы я мог тебя успокоить.

– Благодарю, – отвечал Ермий, – и за привет твой пусть благословит тебя Бог, благословивший странноприимный кров Авраама.

– Ну, ну, перестань многословить! Совсем не о чем говорить, а уж ты и за Авраама хватаешься. Бери, старина, дело проще. Много будет, если ты благословишь меня, выходя из моего дома, когда отдохнешь с дороги и успокоишься, а теперь входи скорее: пока я дома, я тебе помогу умыться, а то меня кто-нибудь

кликнет на ночную потеху, и мне тогда будет некогда за тобой ухаживать. У нас нынче в упадке делишки: к нам стали заходить чужие скоморохи из Сиракуз; так сладко поют и играют на арфах, что перебили у нас всю самую лучшую работу. Ничего нельзя упускать: надо сразу бежать, куда кликнут, а теперь как раз такой час, когда богатые и знатные гости приходят попить к веселым гетерам.

«Проклятый час», – подумал Ермий.

А Памфалон продолжал:

– Ну, входи же, сделай милость, и не обращай вниманья на мою собаку: это Акра, это мой верный пес, мой товарищ, – Акра живет не для страха, а так же, как я, – для потехи. Входи ко мне, путник.

С этим Памфалон протянул гостю обе руки и, сведя его по ступенькам с уличной тьмы в освещенную комнату, мгновенно отскочил от него в ужасе.

Так страшен и дик показался ему вошедший пустынный!

Прежний вельможа, простояв тридцать лет под ветром и пламенным солнцем, изнеможил в себе вид человеческий. Глаза его со-

всем обесцветились, изгоревшее тело его все почернело и присохло к остову, руки и ноги его иссохли, и отросшие ногти загнулись и впились в ладони, а на голове остался один клочок волос, и цвет этих волос был не белый, и не желтый, и даже не пазелень, а голубоватый, как утиное яйцо, и этот клочок торчал на самой середине головы, точно хохол на селезне.

В изумлении стояли друг перед другом два эти совсем не сходные человека: один скомо-рох, скрывший свой натуральный вид лица под красками, а другой – весь излинявший пустынный. На них смотрели длинномордая собака и разноперая птица. И все молчали. А Ермий пришел к Памфалону не для молчания, а для беседы, и для великой беседы.

Глава десятая

Оправился первый Памфалон.

Заметив, что Ермий не имел на себе никакой ноши, Памфалон с недоумением спросил его:

– Где же твоя кошница и тыква?

– Со мной нет ничего, – отвечал отшельник.

– Ну, слава богу, что у меня сегодня есть чем тебя угостить.

– Мне ничего и не надо, – перебил старец, – я пришел не за угощением. Мне нужно знать, как ты угождаешь Богу?

– Что такое?

– Как ты угождаешь Богу?

– Что ты, что ты, старец! Какое от меня угождение богу! Да мне об этом даже и думать нельзя.

– Отчего тебе нельзя думать? О своем спасении всяк должен думать. Ничего для человека не может быть так дорого, как его спасение. А спасение невозможно без того, чтобы угодить Богу.

Памфалон его выслушал, улыбнулся и от-

вечал:

– Эх, отец, отец! Если бы ты знал, как мне смешно тебя слушать. Видно, и вправду давно ты из мира.

– Да, я из мира давно; я тридцать лет уже не был между людьми, но все-таки что я говорю, то истинно и согласно с верой.

– А я, – отвечал Памфалон, – с тобою не спорю, но говорю тебе, что я человек очень непостоянной жизни, я ремеслом скоморох и не о благочестии размышляю, а я скачу, верчусь, играю, руками плещу, глазами мигаю, выкручиваю ногами и трясую головой, чтобы мне дали что-нибудь за мое посмешище. О каком богоугождении я могу думать в такой жизни!

– Отчего же ты не оставишь эту жизнь и не начнешь вести лучшую?

– А, друг любезный, я уже это пробовал.

– И что же?

– Не удастся.

– Еще раз попробуй.

– Нет, уж теперь и пробовать нечего.

– Отчего?

– Оттого, что я на сих днях упустил такой случай для исправления моей жизни, какого

уже лучше и быть не может.

– Почему ты знаешь? По-твоему не может быть, а у Бога все возможно.

– Нет, ты про это со мною, пожалуйста, лучше не говори, потому что я даже и не хочу более искушать бога, если я не умею пользоваться его милостями. Я себя сам оставил без спасения, и пусть так и будет.

– Так ты, значит, отчаянный?

– Нет, я не отчаянный, а только я беззаботный и веселый человек, и разговаривать со мною о вере... просто даже некстати.

Ермий покачал головой и говорит:

– В чем же, однако, состоит твоя вера, веселый беззаботный человек?

– Я верю, что я сам из себя ничего хорошего сделать не сумею, а если создавший меня сам что-нибудь лучшее из меня со временем сделает, ну так это его дело. Он всех удивить может.

– А отчего же ты сам о себе не заботишься?

– Некогда.

– Как это некогда?

– Да так, я живу в суете, а когда нарочито соберусь спастись, то на меня нападает тос-

ка, и вместо хорошего еще хуже выходит.

– Ты говоришь несообразное.

– Нет, это правда. Когда я размыслюсь, то от моего слабого характера стану тревожен и опять сам все разрушу и стану на свою скоморошью степень.

– Ну, так ты человек пропащий.

– Очень может быть.

– И я думаю, что ты совсем не тот Памфалон, которого мне надобно.

– Я не могу тебе на это ответить, – отвечал скоморох, – но только мне кажется, что на этот час, когда я так счастлив, что могу послужить твоей страннической нужде, я теперь, пожалуй, как раз тот Памфалон, который тебе нужен, а что тебе дальше нужно будет, о том завтра узнаем. Теперь же я умою твои ноги, и ты покушай, что у меня есть, и ложись спать, а я пойду скоморошить.

– Мне нужно бесед твоих.

– Бесед! – опять воскликнул Памфалон.

– Да, мне нужно бесед твоих, я для них пришел и не отступлю от тебя.

Памфалон поглядел на старца, потрогал его за его синий хохолок и потом вдруг расхо-

хотался.

– Что же это тебе, весельчак, так смешно в словах моих? – спросил Ермий. А Памфалон отвечал:

– Прости мне мое безумство. Я это по привычке шутить рассмеялся. Ты хочешь не отступить от меня, а я подумал, что мне, пожалуй и хорошо бы взять тебя и поводить с собою по городу. Мне бы было выгодно водить тебя напоказ по Дамаску. На тебя бы все глядеть собирались, но мне стыдно, что я так о тебе подумал, и пусть же и тебе будет стыдно надо мною смеяться.

– Я ни над кем не смеюсь, Памфалон.

– Так зачем же ты говоришь, что хочешь от меня бесед для своего научения? Какие научения могу дать я, дрянной скоморох, тебе, мужу, имевшему силу рассуждать о боге и о людях в святом безмолвии пустыни? Господь меня не лишил совсем святейшего дара своего – разума, и я знаю разницу, какая есть между мною и тобою. Не оскорбляй же меня, старик, позволь мне омыть твои ноги и почивай на моей постели.

– Хорошо, – сказал Ермий, – ты хозяин в

своём доме и делай, что хочешь.

Памфалон принес лохань свежей воды и, омыв ноги гостя, подал ему есть, а потом уложил в постель и промолвил:

– Завтра будем говорить с тобою. А теперь об одном тебя попрошу: не тревожься, если кто-нибудь из подгулявших людей станет стучать ко мне в дверь или бросать что-нибудь в стену. Это ничего другого не значит, как празднолюбцы зовут меня потешать их.

– И ты встаешь и уходишь?

– Да, я иду во всякое время.

– И неужто тыходишь повсюду?

– Конечно, повсюду: я ведь скоморох и не могу разбирать места.

– Бедный Памфалон!

– Как быть, мой отец! Мудрецы и философы моего мастерства не требуют, а требуют его празднолюбцы. Я хожу на площади, стою у ристалищ, верчусь на пирах, бываю в загородных рощах, где гуляют молодые богачи, а больше все по ночам бываю в домах у веселых гетер...

При последнем слове Ермий едва не заплакал и еще жалостнее воскликнул:

– Бедный Памфалон!

– Что делать, – отвечал скоморох, – я действительно очень беден. Я ведь сын греха и как во грехе зачат, так с грешниками и вырос. Ничему другому я, кроме скоморошества, не научен, а в мире должен был жить потому, что здесь жила во грехе зачавшая и родившая меня мать моя. Я не мог снести, чтобы мать моя протянула к чужому человеку руку за хлебом, и кормил ее своим скоморошеством.

– А где же теперь твоя мать?

– Я верю, что она у бога. Она умерла на той же постели, где ты лежишь теперь.

– Тебя любят в Дамаске?

– Не знаю, что есть слово «любят», но меня, пожалуй, и любят, и кидают мне деньги за мои забавы, и угощают меня за своими столами. Я пью на чужой счет дорогое вино и плачу за него моими шутками.

– Ты пьешь вино?

– О да, что я пью вино и люблю его пить, в том нет никакого сомнения. Да без этого и нельзя для человека который держится веселой компании.

– Кто же тебя приучил к этой компании?

– Случай, или, лучше тебе сказать, я не умею объяснить этого твоему благочестию. Мать моя в молодости была весела и прекрасна. Отец мой был знатный человек. Он меня бросил, а другие из степенных людей никто меня не взяли, взял меня такой же, как я, скороморх и много меня бил и ломал, но все-таки спасибо ему – он меня выучил своему делу, и теперь никто лучше меня не кинет вверх колея, чтобы они на лету сошлись; никто так не щелкает языком, не строит рож, не плещет руками, и не митусует ногами, и не тростит головой.

– И тебе это ремесло еще не омерзело?

– Нет, оно часто мне не нравится, особенно когда я вижу, как проводят у гетер время вельможи, которым надо бы думать о счастье народа, и когда в веселые дома приводят цветущую юность, но я в этом воспитан и этим одним только умею добывать себе хлеб.

– Бедный, бедный Памфалон! Смотри, вот уже и голова твоя забелелась, а ты все до сей поры плещешь руками, и семенишь ногами, и тростишь головой у погибших блудниц. Ты сам погибнешь с ними.

А Памфалон отвечал:

– Не жалею меня, что я выкручиваю ногами и верчусь у гетер. Гетеры грешницы, но бывают к нам, слабым людям, жалостливы. Когда их гости упьются, они сами ходят и сами для нас от гуляк собирают даянье, и даже порою с излишком и с ласкою для нас просят.

И заметив, что Ермий отвернулся, Памфалон тронул его ласково за плечо и молвил с уветом:

– Верь мне, почтенный старик, что живое всегда живым остается, и у гетер часто бьется в груди прекрасное сердце. А печально нам быть на пирах у богатых господ. Вот там часто встречаются скверные люди; они горды, надменны и веселья хотят, а свободного смеха и шуток не терпят. Там требуют того, чего естество человеческое стыдится, там угрожают ударением и ранами, там щиплют мою разноперую птицу, там дуют и плюют в нос моей собаке Акре. Там ни во что вменяют все обиды для низших и наутро... ходят молиться для вида.

– О горе! о горе! – прошептал Ермий, – вижу, что он даже совсем еще далек от того, что-

бы понимать, в чем погряз, но его ум и его естество, может быть, добры... Потому я, верно, для того к нему и послан, чтобы вывести его одаренную душу на иную путину.

И сказал он ему вдохновенно:

– Брось свое гадкое ремесло, Памфалон. А тот ему спокойно ответил:

– Очень бы рад, да не могу.

– Произнеси глагол к Богу, и он тебе поможет. Памфалон вздрогнул и упавшим голосом молвил:

– Глагол!.. зачем ты читаешь в душе моей то, о чем я хочу позабыть!

– Ага! ты, верно, уже давал обет и опять его нарушил?

– Да, ты отгадал: я сделал это дурное дело – я давал обет.

– Почему же ты называешь обет дурным делом?

– Потому, что христианам запрещено клясться и обещаться, а я, какой ни есть, все же христианин, и, однако, я давал обет и его нарушил. А теперь я знаю, что разве может слабый человек давать обет всемогущему, который предуставил, чем ему быть, и мнет его,

как горшечник мнет глину на кружале? Да, знай, старичок, знай, что я имел возможность бросить скоморошество и не бросил.

– И почему же ты не бросил?

– Не мог.

– Что у тебя за ответ: все ты «не мог»! Почему ты и мог и не мог?

– Да, и мог и не мог потому что... я небрежлив – я не могу о своей душе думать, когда есть кто-нибудь, кому надо помочь.

Старец приподнялся на ложе и, вперив глаза в скомороха, воскликнул:

– Что ты сказал?! Ты ни во что считаешь погубить свою душу на бесконечные веки веков, лишь бы сделать что-нибудь в сей быстрой жизни для другого! Да ты имеешь ли понятие о ярящемся пламени ада и о глубине вечной ночи?

Скоморох усмехнулся и сказал:

– Нет, я ничего не знаю об этом. Да и как я могу знать о жизни мертвых, когда я не знаю даже всего о живых? А ты знаешь о тартаре, старец?

– Конечно!

– А между тем, я вижу, и ты не знаешь о

многом, что есть на земле. Мне это странно. Я тебе говорю, что я человек негодный, а ты мне не веришь. А я не поверю тебе, что ты знаешь о мертвых.

– Несчастный! да ты имеешь ли даже понятие о самом божестве?

– Имею, только очень малые понятия, но в том не ожидаю себе великого осуждения, потому что я ведь не вырос в благородной семье, я не слушал уроков у схоластиков в Византии.

– Бога можно знать и служить ему без науки схоластиков.

– Я с тобою согласен и так всегда говорил в уме с богом: ты творец, а я тварь – мне тебя не понять, ты меня всунул для чего в эту кожаную ризу и бросил сюда на землю трудиться, я и таскаюсь по земле, ползаю, тружусь. Хотел бы узнать: для чего это все так мудрено сотворено, да я не хочу быть как ленивый раб, чтобы о тебе со всеми пересуживать. Я буду тебе просто покорен и не стану разузнавать, что ты думаешь, а просто возьму и исполню, что твой перст начертал в моем сердце! А если дурно сделаю – ты прости, потому что ведь

это ты меня создал с жалостным сердцем. Я с ним и живу.

– И ты на этом надеешься оправдаться!

– Ах, я ни на что не надеюсь, а я просто ничего не боюсь.

– Как! ты и Бога не боишься?!

Памфалон пожал плечами и ответил:

– Право, не боюсь: я его люблю.

– Лучше трепещи!

– Зачем? Ты разве трепещешь?

– Трепетал.

– И нынче устал?

– Я уже не тот, что был прежде когда-то.

– Наверно, ты сделался лучше?

– Не знаю.

– Это ты хорошо сказал. Знает тот, кто со стороны смотрит, а не тот, кто свое дело делает. Кто делает, тому на себя не видно.

– А ты себя когда-нибудь чувствовал хорошо?

Памфалон промолчал.

– Я умоляю тебя, – повторил Ермий, – скажи мне, ты когда-нибудь чувствовал себя хорошо?

– Да, – отвечал скоморох, – я чувствовал...

– А когда это было?

– Представь, это было именно в тот самый час, когда я себя от него удалил...

– Боже! что говорит этот безумец!

– Я говорю сущую правду.

– Но чем и как ты отдалил себя от Бога?

– Я это сделал за единый вздох.

– Ответь же мне, что ты сделал?

Памфалон хотел отвечать, что с ним было, но в это самое мгновение циновку, которою была завешена дверь, откинули две молодые смуглые женские руки в запястьях, и два звонкие женские голоса сразу наперебой заговорили:

– Памфалон, смехотворный Памфалон! скорей поднимайся и иди с нами. Мы бежали впотьмах бегом за тобою от нашей гетеры... Спеши скорей, у нас полон грот и аллеи богатых гостей из Коринфа. Бери с собой кольца, и струны, и Акру, и птицу. Ты нынче в ночь можешь много заработать за свое смехотворство и хоть немножко вернешь свою большую потерю.

Ермий взглянул на этих женщин, и их лоснящаяся теплая кожа, их полурастворенные

рты и замутившиеся глаза с обращенным в пространство взором, совершенное отсутствие мысли на лицах и запах их страстного тела сшибли его. Пустыннику показалось, что он слышит даже глухой рокот крови в их жилах, и в отдалении топот копыт, и сопенье, и запах острого пота Силенна.

Ермий затрясся от страха, завернулся к стене и закрыл свою голову рогожей.

А Памфалон тихо молвил, нагнувшись в его сторону:

– Вот видишь, досуг ли мне размышлять о высоком! – и, сразу же переменив тон на громкий и веселый, он отвечал женщинам:

– Сейчас, сейчас иду к вам, мои нильские змейки.

Памфалон свистнул свою Акру, взял шест, на котором в обруче сидела его пестрая птица, и, захватив другие свои скоморошьи снаряды, ушел, загасив лампу.

Ермий остался один в пустом жилище.

Глава одиннадцатая

Ермий не скоро позабылся сном. Он долго размышлял: как ему согласить в своем понятии то, для чего он шел сюда, с тем, что здесь находит. Конечно, можно сразу видеть, что скоморох человек доброго сердца, но все же он человек легкомысленный: он потехи множит, руками плещет, ногами танцует и тростит головой, а оставить эти бесовские потехи не желает. Да и может ли он сделать это, так далеко затянувшись в разгульную жизнь? Вот где он, например, находится теперь, после того как ушел с этими бесстыжими женщинами, после которых еще стоит в воздухе роко-танье их крови и веянье страстного пота Си-лена?

Если таковы были посланницы, то какова же должна быть та, которой они служат в ее развращенном доме!..

Отшельник содрогнулся.

Для чего же было ему, после тридцати лет стояния, слезать со скалы, идти многие дни с страшной истомой, чтобы прийти и увидеть в Дамаске... ту же темную скверну греха, от ко-

торой он бежал из Византии? Нет, верно, не ангел божий его сюда послал, а искусительный демон! Нечего больше и думать об этом, надо сейчас же встать и бежать.

Тяжело было старцу подняться – ноги его устали, путь далек, пустыня жарка и исполнена страхов, но он не пощадил своего тела... он встает, он бредет во тьме по стогнам Дамаска, пробегает их: песни, пьяный звон чаш из домов, и страстные вздохи нимф и самый Силен – всё напротив его, как волна прибоя; но ногам его дана небывалая сила и бодрость. Он бежит, бежит, видит свою скалу, хватается за ее кремнистые ребра, хочет влезть в свою расщелину, но чья-то страшно могучая рука срыгает его за ноги вниз и ставит на землю, а незримый голос грозно говорит ему:

– Не отступай от Памфалона, проси его рассказать тебе, как он совершил дело своего спасения.

И с этим Ермия так дунуло вспять, что он едва не задохся от бури, и, открыв глаза, видит день, и он опять в жилище Памфалона, и сам скоморох тут лежит, упав на голом полу, и спит, а его пес и разноперая птица дрем-

ЛЮТ...

Возле изголовья Ермия стояли два сосуда из глины – один с водою, другой с молоком, и на свежих зеленых листьях мягкий козий сыр и сочные фрукты.

Ничего этого с вечера здесь не было...

Значит, пустынный спал крепко, а его усталый хозяин, когда возвратился, еще не прямо лег спать, а прежде послужил своему гостю.

Скоморох поставил гостю все, что где-то достал, чтобы гость утром встал и мог подкрепиться...

Ни сыру, ни плодов в доме у Памфалона не было, а все это, очевидно, ему было дано там, где он вертелся и тешил гуляк у гетеры.

Он взял подачку от гетеры и принес это страннику.

«Чудак мой хозяин», – подумал Ермий и, встав с постели, подошел к Памфалону, взглянул в лицо его и засмотрелся. Вчера вечером он видел Памфалона при лампе и готового на скоморошество, с завитою головою и с лицом, разрисованным красками, а теперь скоморох спал, смыв с себя скоморошье мазанье, и лицо у него было тихое и прекрасное. Ермию ка-

залось, будто это совсем не человек, а ангел.

«Что же! – подумал Ермий, – может быть, я не обманут; может быть, не было надо мной искушения, а это именно тот самый Памфалон, который совершеннее меня и у которого мне надо чему-то научиться. Боже! как это узнать? Как разрешить это сомнение?»

И старик заплакал, опустил перед скомо-рохом на колени и, обняв его голову, стал звать со слезами его по имени.

Памфалон проснулся и спросил:

– Что тебе угодно от меня, мой отец?

Но увидев, что старец плачет, Памфалон встревожился, спешно встал и начал говорить:

– Зачем я вижу слезы на старом лице тво-ем? Не обидел ли тебя кто-нибудь? А Ермий ему отвечает:

– Никто меня не обидел, кроме тебя, пото-му что я пришел к тебе из моей пустыни, что-бы узнать от тебя для себя полезное, а ты не хочешь сказать мне: чем ты угождаешь Богу; не скрывайся и не мучь меня: я вижу, что жи-вешь ты в жизни суетной, но мне о тебе явлен-но, что ты Богу любезен.

Памфалон задумался и потом говорит:

– Поверь, старик, что в моей жизни нет ничего такого, что бы можно взять в похвалу, а, напротив, все скверно.

– Да ты, может быть, сам не знаешь?

– Ну, как не знать! Я знаю, что живу, как ты сам видишь, в суете, и вдобавок еще имею такое дрянное сердце, которое даже не допускает меня стать на лучшую степень.

– Ну вот скажи мне хоть об этом: какой вред сделало тебе твое сердце и как оно не допускает тебя стать на иной степень? Как это было, что ты почувствовал себя хорошо, когда сделал дурно?

– Ага! про это изволь, – отвечал Памфалон, – если ты так уже непременно этого требуешь, то я тебе расскажу этот случай, но только ты после моего рассказа, наверно, не захочешь ко мне возвратиться. Восстанем же лучше и пойдем отсюда за город, в поле: там на свободе я расскажу тебе про то происшествие, которое совсем меня отдалило от надежды исправления.

– Пойдем, Бога ради, скорее, – отвечал Ермай, покрываясь своими ветхими лохмотья-

ми.

Они оба вышли за город, сели над диким обрывистым рвом, у ног их легла Акра, и Памфалон начал сказывать.

Глава двенадцатая

— Ни за что я не стал бы тебе рассказывать, — начал Памфалон, — о чем ты меня просишь, но как ты непременно хочешь считать меня за хорошего человека, а мне от этого стыдно, потому что я этого не стою, а стою одного лишь презренья, то я расскажу. Я большой грешник и бражник, но, что всего хуже еще, — я обманщик, и не простой обманщик: а я обманул бога в данном ему обете как раз в то самое время, когда получил невероятным образом возможность обет свой исполнить. Слушай, пожалуйста, и суди меня строго. Я желаю в твоём суде получить целебную рану, какую заслужил себе в наказание. Нечистоту моей скоморошьей жизни ты видел, и все дальнейшее посему понять можешь. Кругом я грязен и скверен. Я тебе правду сказал, что рассуждать о божественном я не научен и по жизни моей мне редко когда это приходит на мысль, но ты прозорлив — бывали случаи, что и я о своей душе думал. Вертишься ночь бражникам на потеху, а когда перед утром домой возвращаешься, и задумаешься: стоит ли

этак жить? Грешишь для того, чтобы пропитаться, и питаешься для того, чтоб грешить. Все так и вертится. Но человек ведь, отче, лукав и во всяком своем положении ищет себе смоковничьи листья, чтобы прикрыть свою срамоту. Таков же и я: и я себе не раз думал: я в грехе погряз от нужды, я что добуду, тем едва пропитаюсь; вот если бы у меня сразу случились такие деньги, чтобы я мог купить хоть очень малое поле и работать на нем, так тогда бы я сейчас же оставил свое скоморошье и стал бы жить, как другие, степенные люди. Да не мог я этого достичь, и не потому, чтобы никогда в мои руки денег не попадало, – нет, деньги бывали, а всегда что-нибудь такое случалось, что я не успею собрать сколько нужно, как уже все собранное и растрачу; случится кто-нибудь в горе, и мне его станет жаль, и я промотаюсь. Если бы мне враз пришло в руки много денег, тогда бы я, наверно, скоморошество оставил и перешел на степенность, а шить лоскут к лоскуту я не умею. Зачем меня бог так устроил? Но если он щедрой рукой когда-нибудь враз мне поможет, – ну, тогда я воздержусь и стану жить хо-

рошо, как прочие благородные люди, которых почитают и монахи, и клирики, и все ожидающие себе царствия небесного.

И что же ты думаешь! точно как с того будто слова случилось: вдруг выпал мне такой удивительный случай, о каком, казалось, невозможно было и думать. Слушай прилежно меня и суди меня строго.

Вот что было раз в моей жизни.

Был я позван однажды тешить гостей у одной здешней гетеры Азеллы. Она немолода, но ее красота долголетня, и Азелла всех здесь красивей, пышней и умнее. Гости было много, и всё чужеземцы из Рима и хвастуны богачи из Коринфа. Все упивались вином и меня беспрестанно заставляли играть им и петь. Другие хотели, чтобы я смешил их, и я всем угождал, как хотели. А когда я уставал, они не желали этого знать и надо мною обидно смеялись, толкали, насильно поили вином, в которое сыпали неприятную подмесь; обливали меня и злили мою бедную Акру. Они дергали ее за ляжки и плевали ей в нос, а когда Акра рычала, они ее били и даже грозились убить; я все это сносил, лишь бы побольше от них за-

работать, потому что, признаюсь тебе, мне надобно было тогда отправить на родину одного калеку-воина. Зато умная гетера Азелла, видя, как меня обижали, обратила это все в мою пользу: она раскрыла свою тунику и заставила всех кинуть мне несколько денег, гости же спьяну набросали мне много, а особенно один, горделивый и тучный Ор коринфянин, с надутым брюхом без шеи. Ор громко сказал:

– Покажи мне, Азелла, много ли золота все положили в твою тунику.

Она показала.

Ор же взглянул и, скосивши лицо с надменной усмешкой на римлян, добавил:

– Слушай меня, что скажу я, Азелла: прогони сейчас от себя всех этих гостей и возьми за то у слуги моего вдесятеро против того, что они все положили твоему скомороху.

Азелла сказала гостям:

– Мудрые люди, фортуна спускается к смертным не часто, а к Памфалону она еще всю жизнь не сходила. Дайте ей место, а сами идите спокойно ко сну.

Недовольные гости ушли, а Азелла прово-

дила меня последнего и дала мне так много денег, что я не мог счесть их, а утром, когда стал сосчитывать, насчитал двести тридцать златниц. Я и обрадовался и вместе с тем испугался.

«Вот, – подумал я, – случай, после которого я уже не должен более служить скоморошьям потехам. Это точно бог внял моему обещанью. Никогда еще у меня не бывало зараз столько денег. Довольно же меня всем обижать и надо мной насмехаться. Теперь я не бедняк. За эти деньги я вчера снес большие обиды, но зато вперед этого больше не будет. Конец скоморошью! Я отыщу себе небольшое поле с ключом чистой воды и с многолиственной пальмой. Куплю это поле и стану жить честно, как все люди, с которыми не стыдятся вести знакомство ни клир, ни монахи».

И я предался разнородным мечтаньям, стал любоваться собою, как я буду жить достойною жизнью: буду рано утром вставать, а не то что теперь – только утром ложиться; не буду свистать, а стану петь псалмы; буду днем работать в своем винограднике, а вечером сяду у своего ручья под своей пальмой и

стану размышлять о своей душе да выглядывать путника. А покажется путник, я поднимусь и пойду ему навстречу, приглашу его к себе, приму его в дом, успокою, угощу и потом поведу с ним в тишине под звездным небом беседу о боге. Переменится совсем к лучшему жизнь моя, и не буду я скоморохом в старости, когда оскудеют мои силы. А чтобы решение мое еще более окрепло и слабость ко мне ниотколь не подкралась, я завязал себе руки неразрывною цепью... Я сделал то, о чем ты говорил, я поклялся с этого раза стать совсем иным человеком; но послушай же, что затем случилось и перед чем я не устоял в клятве и обещании.

Глава тринадцатая

Чтобы ничего не истратить, я не пошел от-
правлять домой убогого воина, а зарыл
все мои деньги в землю у себя под изголовьем
и утром не поднимал моей циновки. Я при-
творился больным и не хотел ни одного раза
больше идти на гульбу с бражниками. Всем,
кто приходил меня звать, я отвечал, что я бо-
лен и пойду за город в горы подышать све-
жим воздухом и поискать на болезнь мою це-
лебную траву. А сам пробрался потихоньку к
сводчику, к жиду Капитону, который знает
все, где что продается, и просил его отыскать
мне хорошее поле с водою и с пальмовой те-
нью. Капитон-сводчик меня сразу обрадовал.

– Есть, – говорит, – у меня на виду как раз
то, что тебе нужно.

И описал мне продажное поле так хорошо,
как я сам не умел о нем и подумать. Есть там
и ключ и пальма, да еще и бальзамный куст,
от которого струит ароматом на целое попри-
ще.

– Иди, – говорю, – и купи мне скорей это
поле.

Жид обещал все устроить.

«Вот, – думал я, – теперь уже совсем наступает конец моей беспорядочной жизни, теперь я брошу все мои крики и свисты, сниму все смешные наряды, надену на себя степенный левитон, покрою голову платом и буду работать день на поле, а вечером стану сидеть у своей кущи и подражать гостеприимству Авраама.»

Но не скрою от тебя – во все это время я ощущал беспокойство. Все мне казалось, что ничего того, что я затеял, не будет.

На обратном пути от Капитона объял меня страх: не узнал ли кто, что я получил деньги от гордого коринфянина, и не пришел ли без меня и не украл ли моих денег из того места, где я их зарыл у себя под постелью?.. Побежал я домой шибко, в тревоге, какой ранее никогда еще не знал, а прибежав, сейчас же прилег на землю, раскопал свою похоронку и пересчитал деньги: все двести тридцать златниц, которые бросил мне гордый Ор коринфянин, были целы, и я взял и опять их зарыл и сам лег на них, как собака.

И хочешь ли знать, кого я боялся? Мне

страшно было не одних тех воров, что ходят и крадут, а я боялся и того вора, что жил вечно со мной в моем сердце. Я не хотел знать ни о чем несчастье, чтобы оно не лишило меня той твердости, которая нужна человеку, желающему исправить путь своей собственной жизни, не обращая внимания на то, что где-нибудь делается с другими. Я не виноват в их несчастиях.

А так как я, ходя к Капитону и возвращаясь назад, изрядно устал, то меня одолел сон, но и сон этот был тоже исполнен тревоги: то я видел, что давно уже купил себе сказанное Капитоном поле, и живу уже в светлом доме, и близко меня журчит родник свежей воды, и бальзамный куст мне точит аромат, и ветвистая пальма меня отеняет. То во всей этой красоте все что-то портит: в роднике я вижу бездну пиявиц, вокруг пальмы прыгают огромные жабы, а под самым бальзамным кустом извивается аспид. Увидав аспида, я так испугался, что даже проснулся, и сейчас подумал: целы ли мои деньги? Они были целы – я лежал на них, и никто их не мог взять без насилия. И вот мне пришла мысль, что богат-

ство, которое мне бросил Ор у Азеллы, вероятно не осталось до сих пор тайной в Дамаске. Не с тем кинул мне деньги на пиру у гетеры гордый коринфянин Ор, чтобы это оставалось в тайне. Он, конечно, для того только это и сделал, чтобы все завидовали его богатству и распускали молву, которая лестна для его гордости. И вот теперь люди узнают, что у меня есть деньги, и придут ко мне ночью и меня ограбят и избьют, а если я стану им сопротивляться, то они совсем убьют меня.

А как у меня циновка была опущена, то в горнице стало нестерпимо душно, и я подошел приподнять циновку и вижу, что по улице идут два малолетних мальчика с корзинами, полными хлеба, а перед ними осел, который тоже нагружен такими же корзинами с хлебом. Мальчики погоняют осла и разговаривают между собою... обо мне!

– Вот, – говорит один, – наш Памфалон нынче уже и циновки своей не открывает.

– Да зачем ему теперь открывать ее, – отвечает другой, – ему больше не нужно кривляться: он богач – может спать сколько захочет. Ты ведь, я думаю, слышал, что рассказы-

вали все, которые приходили сегодня к нам в пекарню за хлебом.

– Как же, как же, я даже так заслушался, что хозяин дал мне за это во всю ладонь подзатыльник. Какой-то гордец из Коринфа, чтобы унижить наших дамасских богачей, бросил Памфалону у гетеры Азеллы десять тысяч златниц. Он теперь купит дом, и сады, и невольниц и будет лежать у фонтана.

– Не десять, а двадцать тысяч златниц, – поправил другой, – и притом деньги эти были еще в ящике, осыпанном перлами. Он купит, наверное, поле с чертогом, поставит вокруг себя самых красивых мальчиков с опахалами и станет собирать разных ученых и заставлять их рассуждать на разных языках о святом духе.

Из этого разговора мальчиков, развозивших хлеб из пекарни, я узнал, что случай моего неожиданного обогащения уже известен всему Дамаску, а притом и самая сумма, которую я обладал по прихоти горделивого Ора, была более чем в десять раз преувеличена.

Да и кто мог наверно знать, что сумма, брошенная мне гордецом Ором, заключалась ме-

нее чем в трехстах литрах а совсем не в двадцати тысячах златниц? Конечно, это знал только один я, потому что и сам Ор, без сомнения, не считал того, что он мне кинул.

Но и это было еще маловажно в сравнении с тем, чем закончили свой разговор проходившие мальчики. Один из них продолжал, будто всех очень занимает: куда я спрятал теперь такое богатство, как двадцать тысяч златниц. Особенно же этим будто интересовался флейтщик Амму, отчаянный головорез, который прежде был воином в двух взаимно враждовавших армиях, потом разбойником, убивавшим богомольцев, а после еще монахом в Нитрийской пустыне и, наконец, явился сюда к нам в Дамаск с флейтою и черной блудницей, завернутой в милоть нитрийского брата. Брата он, верно, убил, а блудницу продал в веселый дом нагишом, а милотью обтирал долго пыль и грязь с ног гуляк, подходящих вечерами к порогам гетер. Он также часто играл на своей флейте при моих представлениях, но еще чаще гетеры отгоняли его. Амму сам был виноват, потому что он без стыда начал румянить себе щеки и наводить

брови, как особа обоего пола. Этим он сделался мерзок для женщин, как их соперник. Меня Аммуна страшно ненавидел. Я даже знал, что он уже несколько раз научал пьяных людей напасть на меня ночью и сделать мне вред.

Теперь желанье сделать мне вред в Аммуна, конечно, должно было усиливаться, а его старинные разбойничьи навыки могли помочь ему привести задуманное им злодейство в исполнение. У него уже было золото, и он брал себе людей в кабалу и заставлял их делать, что скажет.

Глава четырнадцатая

МЫСЛЬ об опасности, угрожающей мне от Аммуна, пролетела в моей голове как молния и так овладела мною, что даже помешала мне отнять рогожу от окна и воротить прошедших мимо мальчиков, у которых мне надо было купить для себя свежих хлебов.

Скача и вертясь за то, что мне кинут, я всегда был сыт и даже очень нередко подкреплял себя вволю вином, а теперь, когда у меня было золото, я впервые провел весь день и без пищи и без глотка вина, а притом еще и в тревоге, которая возрастала так же быстро, как быстро сгущаются наши сумерки, переходящие в темную ночь.

Мне было не до пищи: я страшился за целостность моего богатства и за мою жизнь: флейтщик Аммуна так и стоял с своими кабальными перед глазами напуганной души моей. Я думал, это непременно так и есть: вот он днем обегал уже всех подобных ему, согласных на злодеяния, и теперь, при наступающей темноте, все они собрались в какой-нибудь пещере или корчемнице, а как совсем стемнеет,

они придут сюда, чтобы взять от меня двадцать тысяч златниц. Когда же они не найдут у меня столько, сколько думают, то они не поверят, что коринфянин Ор не дарил мне такой суммы, и станут меня жечь и пытаться.

И тут вдруг я, к ужасу своему, вспомнил, что я никогда как следует не заботился о крепости запоров для своего бедного жилища... Я закрывал его на время моего отсутствия более только для вида, а ночью часто спал, даже совсем не положив болтов ни на двери мои, ни на окна.

Теперь это не годилось, и как время уже совсем приблизилось к ночи, то надо было поспешить все пересмотреть и что можно поскорее приладить, чтобы не так легко было ко мне ворваться.

Я придумал, как можно подпереть изнутри мою дверь, но только что стал это подстроить, как вдруг неожиданно, перед самыми глазами моими, моя циновка распахнулась, и ко мне не взошел, а точно чужою сильною рукою был вброшен весь закутанный человек. Он как впал ко мне, так обвил мою шею и замер, простонав отчаянным голосом:

– Спаси меня, Памфалон!

Глава пятнадцатая

С теми мыслями, каких я был полон в эту минуту и чего в тревоге опасался от Аммуна, я прежде всего заподозрил, что это начинается его дело, затеянное с какою-нибудь хитростию, в которых разбойничий ум Аммуна был очень искусен.

Я уже ждал боли, которую должен был ощутить от погружения в мою грудь острого ножа рукою впавшего ко мне гостя, и, охраняя жизнь свою, с такою силою оттолкнул от себя этого незнакомца, что он отлетел от меня к стене и, споткнувшись на обрубок, упал в угол. А я тотчас же сообразил, что мне легче будет управиться с одним человеком, который притом показался мне слабым, чем с несколькими за ним следующими, и потому я поскорее примкнул заставицу и задвинул крепкий засов, а потом взял в руки секиру и стал прислушиваться. Я твердо решился ударить секирою всякого, кто бы ни показался в мое жилище, а в то же время не сводил глаз с того пришельца, которого отшвырнул от себя в угол.

Он стал мне казаться странен тем, что неподвижно лежал в углу, куда упал, и занимал так мало места, как ребенок, а в то же время он совсем не обнаруживал ничего против меня ухищренного, а, напротив, был будто заодно со мною. Он зорко следил за каждым моим движением и, учащенно дыша, шептал:

– Запрись!.. скорей запрись!.. скорей запрись, Памфалон!

Меня это удивило, и я сурово сказал:

– Хорошо, я запрюсь, но тебе что от меня нужно?

– Подай мне поскорее твою руку, дай мне испить и посади меня у твоей лампы. Тогда я скажу тебе, что мне нужно.

– Хорошо, – отвечал я, – каковы бы ни были твои замыслы, но вот тебе моя рука, и вот чаша воды и место у моей лампы.

С этим я протянул гостю руку, и передо мною вспорхнуло легкое детское тело.

– Ты не мужчина, а женщина! – вскричал я. А гость мой, говоривший до сей поры шепотом, отвечает мне женским голосом:

– Да, Памфалон, я женщина, – и с этим она

распахнула на себе темную епанчу, в которую была завернута, и я увидел молодую, прекрасную женщину, с лицом, которое мне было знакомо. На нем вместе с красотой отражалось ужасное горе. Голова ее была покрыта дробным плетением волос, и тело умащено сильным запахом амбры, но она не имела бесстыдства, хотя говорила ужасные вещи.

– Посмотри, хороша или нет я? – спросила она, отеняясь одною рукою от лампы.

– Да, – отвечал я, – ты бесспорно красива, и тебе лучше не терять своего времени со мною. Что тебе нужно?

А она говорит:

– Ты не узнал меня, верно. Я Магна, дочь Птоломея с Альбиной. Купи меня, купи, Памфалон-скоморох, дочь Птоломея – у тебя теперь много богатства, а Магне золото нужно, чтоб спасти мужа и избавить детей из неволи.

И, орошая щеки слезами, Магна стала торопливой рукою разрешать на себе пояс туники.

Глава шестнадцатая

Старик! я видал много людей, но такой странной гостьи у меня еще никогда не случилось... Она и продавала себя и страдала, и все это вместе меня как будто сдавило за сердце.

Имя Магна принадлежало самой прекрасной, именитой и несчастной женщине в Дамаске. Я знал ее еще в детстве, но не видал ее с тех пор, как Магна удалилась от нас с византийцем Руфином, за которого вышла замуж по воле своего отца и своей матери, гордой Альбины.

– Остановись! – вскричал я. – Я тебя узнаю, ты в самом деле благородная Магна, дочь Птоломея, в садах которого я с позволения твоего отца не раз забавлял тебя в детстве моими играми и получал из твоих ласковых рук монеты и пшеничный хлеб, изюм и гранатовые яблоки! Говори мне скорее, что с тобой случилось, где твой супруг, роскошный богач-византиец Руфин, которого ты так любила? Неужто его поглотили волны моря, или молодую жизнь его пресек меч переплывшего

Понт скифского варвара? Где же твоя семья, где твои дети? Магна, потупясь, молчала.

– Скажи же по крайней мере, когда ты явилась в Дамаск и зачем ты не у своих здешних родных или не у прежних богатых подруг – у умной Фотины, у ученой Таоры или у целомудренной Сильвии-девы? Зачем быстрые ноги твои принесли тебя к бедному жилищу бесславного скомороха, над которым ты сейчас так жестоко посмеялась, сделав мне в шутку такое нестаточное предложение!

Но Магна грустно покачала головою и проговорила в ответ:

– Ты, Памфалон, не знаешь всех моих ужасных несчастий! Я не смеюсь: я пришла продать себя не для шутки. Муж мой и дети!.. Муж мой и дети мои все в неволе. Мое горе ужасно!

– Ну так скорее скажи мне, что это за горе, и если я могу тебе пособить, я все с радостью тотчас исполню.

– Хорошо, я все скажу тебе, – отвечала Магна.

И тут-то, пустынный, постигло меня то искушение, за которым я позабыл и обет мой, и

КЛЯТВУ, И САМУЮ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ.

Глава семнадцатая

Я знал Магну с ранних дней ее юности. Я не был в доме ее отца, а был только в саду как скоморох, когда меня звали, чтобы потешить ребенка. Гостей входящих к ним было мало, потому что великолепный Птоломей держал себя гордо и с людьми нестрогой жизни не знался. В его доме не было таких сборищ, при которых был нужен скоморох, а там собирались ученые богословы и изрекали о разных высоких предметах и о самом святом духе. Жена Птолемея, Альбина, мать красавицы Магны, была под стать своему мужу. Все самые пышные жены Дамаска не любили ее, но все признавали ее непорочность. Верность Альбины для всех могла быть уроком. Превосходная Магна уродилась в мать, на которую походила и прекрасным лицом, но молодость ее заставляла ее быть милосердной. Прекрасный сад ее отца, Птолемея, примыкал к большому рву, за которым начиналось широкое поле. Мне часто приходилось проходить этим полем, чтобы миновать дальний обход к загородному дому гетеры Азеллы. Я всегда шел с

моей скоморошьей ношей и с этой самой собакою. Акра тогда была молода и не знала всего, что должна знать скоморошья собака.

Выходя в поле, я останавливался на полпути, как раз против садов Птолемея, чтобы отдохнуть, съесть мою ячменную лепешку и поучить мою Акру. Я обыкновенно садился над обрывом оврага, ел, – и заставлял Акру повторять на широком просторе уроки, которые давал ей у себя, в моем тесном жилище. Среди этих занятий я и увидел один раз прекрасное лицо взросшей Магны. Закрывшись ветвями, она любопытно смотрела из зелени на веселые штуки, которые проделывала моя Акра. Я это заметил и, не давая Магне заметить, что я ее вижу, хотел доставить ей представлениями моего пса более удовольствия, чем Акра могла показать по тогдашней своей выучке. Чтобы побудить собаку к проворству, я несколько раз хлестнул ее ремнем, но в ту самую минуту, когда собака взвизгнула, я заметил, что зелень, скрывавшая Магну, всколыхнулась, и прекрасное лицо девушки исчезло...

Это привело меня в такое озлобление, что я еще ударил Акру два раза, и когда она под-

няла жалобный визг, то из-за ограды сада до меня донеслись слова:

– Жестокий человек! за что ты мучишь это бедное животное! для чего ты принуждаешь собаку делать то, что несвойственно ее природе.

Я оборотился и увидел Магну, которая вышла из своего древесного закрытия, и, стоя по перси над низкой, заросшей листьями оградой, говорила она мне с лицом, пылающим гневом.

– Не осуждай меня, юная госпожа, – отвечал я, – я не жестокий человек, а выучка этого пса относится к моему ремеслу, которым мы с ним оба питаемся.

– Презренно твое ремесло, которое нужно только презренным празднолюбцам, – ответила мне Магна.

– О госпожа! – отвечал я, – всякий питается тем, чем он может добыть себе пищу, и хорошо, если он живет не на счет другого и не делает несчастья ближних.

– Это не идет к тебе, ты развращаешь своих ближних, – молвила Магна, и в глазах ее я мог видеть ту же строгость, которою отличал-

ся всегда взор ее матери.

– Нет, юная госпожа, – отвечал я, – ты судишь строго и говоришь так потому, что мало сама испытала. Я простолюдин и не могу возвращать людей высшего звания.

И я повернулся и хотел уходить, как она остановила меня одним звуком и сказала:

– Не идет тебе рассуждать о людях высокого звания. Лучше вот... лови мой кошелек: я бросаю это тебе, чтобы ты дал вволю пищи твоей жалкой собаке.

С этим она бросила шелковый мешочек, который не долетел на мою сторону, а я потянулся, чтобы его подхватить, и, оборвавшись, упал на дно оврага.

В этом падении я страшно расшибся.

Глава восемнадцатая

В бедствии моем мне было утешением, что во все десять дней, которые я провел в малой пещерке на дне оврага, ко мне всякий день спускалась благородная Магна. Она приносила мне столько роскошной пищи, что ее с излишком доставало для меня и для Акры, а Магна сама, своими девственными руками, смачивала у ручья плат, который прилагала к моему больному плечу, стараясь унять в нем несносный жар от ушиба. При этом мы с ней вели отрадные для меня разговоры, и я наслаждался как чистотой ее сердца, так и ясным светом рассудка. Одно мне в ней было досадно, что она не снисходила ничьим слабостям и слишком на себя во всем полагалась.

– Отчего, – говорила она, – все не живут, как живет моя мать и мои подруги Таора, Фотина и Сильвия, которых вся жизнь чиста, как кристалл.

И я видел, что она их весьма уважала и во всем хотела им следовать. Несмотря на свою молодость, она и меня хотела исправить и оторвать от моей жизни, а когда я не решался

ей этого обещать, то она сердилась.

Я же ей говорил то, что и есть в самом деле.

– Разве ты не знаешь, – говорил я, – что нужен сосуд в честь и нужен сосуд в поношение? Живи ты для чести, а я определен жить для поношения, и, как глина, я не спорю с моим горшечником. Жизнь меня заставила быть скоморохом, и я иду своею дорогой, как бык на веревке.

Магна не умела понять простых слов моих и все относила к привычке.

– Сказано мудрым, – отвечала она, – что привычка приходит как странник, остается как гость и потом сама становится хозяином. Деготь, побывав в чистой бочке, делает ее ни к чему больше не годною, как опять же для дегтя.

Нетрудно мне было понять, что она становится нетерпелива, и я в глазах ее теперь – все равно что дегтярная бочка, и я умолкал и сожалел, что не могу уйти скорей из оврага. Тяжело стало мне от ее самомнения, да и сама она стала заботиться, как меня вынуть из рва и доставить в мое жилище.

Сделать это было трудно, потому что сам я идти не мог, а девушка была слишком слаба, чтобы помочь мне в этом. Дома же она не смела признаться своим гордым родителям в том, что говорила с человеком моего презренного звания.

И как один проступок часто влечет человека к другому, так же случилось и здесь с достойною Магной. Для того чтобы помочь мне, презренному скомороху, который не стоил ее внимания по своему недостойнству, она нашла себя вынужденной довериться еще некоторому юноше, по имени Магистриан.

Магистриан был молодой живописец, который прекрасно расписывал стены роскошных домов. Он шел однажды с своими кистями к той же гетере Азелле, которая велела ему изобразить на стенах новой беседки в ее саду пир сатиров и нимф, и когда Магистриан проходил по полю близ того места, где лежал я во рву, моя Акра узнала его и стала жалостно выть.

Магистриан остановился, но, подумав, что на дне рва, вероятно, лежит кто-нибудь убитый, хотел поскорей удалиться. Без сомнения,

он и ушел бы, если бы наблюдавшая все это Магна его не остановила.

Магна увлеклась состраданьем ко мне, раскрыла густую зелень листвы и сказала:

– Прохожий! не удаляйся, не оказав помощи ближнему. Здесь на дне рва лежит человек, который упал и расшибся. Я не могу пособить ему выйти, но ты сильный мужчина, и ты можешь оказать ему эту помощь.

Магистриан тотчас спустился в ров, осмотрел меня и побежал в город за носильщиками, чтобы перенести меня в мое жилище.

Вскоре он все это исполнил и, оставшись со мною наедине, стал меня спрашивать: как это со мною случилось, что я упал в ров и расшибся, и как я мог жить две недели без пищи?

А как мы с Магистрианом были давно знакомы и дружны, то я не хотел ему говорить что-нибудь выдуманное, а рассказал чистую правду, как было.

И едва я дошел до того, как питала меня Магна и как она своими руками смачивала в воде плат и прикладывала его к моему расшибленному плечу, юный Магистриан весь

озарился в лице и воскликнул в восторге:

– О Памфалон! сколь ты счастлив, и как мне завиден твой жребий! Я бы охотно позволил себе изломать мои руки и ноги, лишь бы видеть возле себя эту нимфу, эту великодушную Магну.

Я сейчас же уразумел, что сердце художника поразило сильное чувство, которое зовется любовью, и я поспешил его образумить.

– Ты малодушник, – сказал я. – Дочь Птолемея прекрасна, об этом ни слова, но здоровье для всякого человека есть самое высшее благо, а притом Птолемея так суров, а мать Магны, Альбина, так надменна, что если душа твоя чувствует пламень красот этой девушки, то из этого ничего для тебя хорошего выйти не может.

Магистриан побледнел и отвечал:

– Чему ж еще надобно выйти! Разве мне не довольно, что она меня вдохновляет.

И он ею продолжал вдохновляться.

Глава девятнадцатая

Когда я оправился и пришел в первый вечер к Азелле, Магистриан повел меня показать картины, которые он написал на стенах в беседке гетеры. Обширное здание беседки было разделено на «часы», из которых складывается каждый день жизни человека. Всякое отделение назначалось к тому, чтобы принести в свой час свои радости жизни. Вся беседка в целом была посвящена Сатурну, изображение которого и блестело под куполом. У главного круга было два крыла в честь Гор, дочерей Юпитера и Фемиды, а эти отделения еще разделялись: тут были покои Ауге, откуда виднелась заря, Анатоло, откуда был виден восход солнца; Музия, где можно было заниматься науками; Нимфея, где купались; Спондея, где обливались; Киприда, где вкушали удовольствия, и Элетия, где молились... И вот здесь-то, в одном отдаленном уголке, который назначался для уединенных мечтаний, живописец изобразил легкою кистью благочестивое сновидение...

Нарисован был пир; нарядные и роскош-

ные женщины, которых я всех мог бы назвать поименно. Это все были наши гетеры. Они возлежали с гостями, в цветах, за пышным столом, а некто юный спал, уткнувшись лицом в корзину с цветами. Лицо его не было видно, но я по его тоге узнал, что это был сам художник Магистриан. А над ним виднелась травля: львы в цирке неслися на юную девушку... а та твердо стояла и шептала молитвы. Она была Магна.

Я его потрепал по плечу и сказал:

– Хорошо!.. ты ее написал очень схоже, но почему ты полагаешь, что ей звери не страшны? Я знаю их род: Птоломей и Альбина известны своим благородством и гордостью тоже, но ведь рок их щадил, и их дочери тоже до сих пор не касалось никакое испытание.

– Что же из этого?

– А то, что прекрасная Магна никаких бедствий жизни не знает, и я не понимаю, почему ты отметил в ней такую черту, как бесстрашие и стойкость перед яростью зверя? Если это иносказанье, то жизнь ведь гораздо страшнее всякого зверя и может заставить сробеть кого хочешь.

– Только не Магну!

– Ах, я думаю, даже и Магну!

Я говорил так для того, чтобы он излишне не увлекался Магной; но он перебил меня и прошептал мне:

– Меня звали делать ширмы для ее девственной спальни, и пока я чертил моим углем, я с ней говорил. Она меня спросила о тебе...

Живописец остановился.

– Она сожалеет, что ты занимаешься таким ремеслом, как скоморошество. Я ей сказал: «Госпожа! не всякий в своей жизни так счастлив, чтобы проводить жизнь свою по избранию. Неодолима судьба: она может заставить смертного напиться из самого мутного источника, где и пиявки и аспид на дне». Она пренебрежительно улыбнулась.

– Улыбнулась?.. – спросил я. – Узнаю в этом дочь Птолемея и гордой Альбины. Мне, знаешь ли... мне больше понравилось бы, если бы она промолчала, а еще лучше – с состраданием тихо вздохнула б.

– Да, – произнес Магистриан, – но она также сказала: «Смерть лучше бесславия», и я

верю, что она на это способна.

– Ты скоро судишь, – отвечал я, – смерть лучше бесславия – это неспорно, но может ли это сказать мать, у которой есть дети?

– Отчего же? ты только вспомни, что сделала мать Маккавеев?

– Да. Маккавеев убили. А если бы матери их погрозили сделать детей такими скоморохами, как я, или обмывщиками ног в доме гетеры... Что? я думаю, если бы мать их была сама Магна, – то бог весть что бы она предпочла: позор или смерть за их избавление?

– Зачем говорить это! – воскликнул, отходя от меня, Магистриан, – пусть не коснется ее вовек никакое зло.

– О, – говорю я, – от всей души присоединяюсь к твоему желанию всего доброго Магне.

А на другой же день после этого разговора Магистриан пришел ко мне перед вечером очень печальный и говорит:

– Слышал ли ты, Памфалон, самую грустную новость? Птоломей и Альбина выдают дочь свою замуж!

– А почему ты называешь это грустной новостью? – отвечал я. – С каких это пор союз

двух сердец стал печалью, а не радостью?

– Это было всегда, когда сердце соединяют с бессердечием.

– Магистриан! – остановил я живописца, – в тебе говорит беспокойное чувство, его зовут ревность. Ты должен его в себе уничтожить.

– О, я уже давно его уничтожил, – отвечал живописец. – Магна мне не невеста, и я ей не жених, но ужасно, что жених ее приезжий Руфин-византиец.

Это имя мне так было известно, что я вздрогнул и опустил из рук мое дело.

Глава двадцатая

Руфин-византиец был из знатного рода и очень изящен собою, но страшно хитер и лицемер столь искусный, что его считали чрезмерным даже в самой Византии. Тщеславный коринфянин Ор и все, кто тратили деньги и силы на пирах у гетеры Азеллы, были, на мое рассуждение, лучше Руфина. Он прибыл в Дамаск с открытым посланием и был принят здесь Птолемеем отменно. Руфин, как притворщик, целые дни проводил во сне дома, а говорил, будто читает богословские книги, а ввечеру удалялся, еще для полезных бесед, за город, где у нас о ту пору жил близ Дамаска старый отшельник, стоя днем на скале а ночью стена в открытой могиле. Руфин ходил к нему, чтобы молиться, стоя в его тени при закате солнца, но отсюда крылатый Эол его заносил постоянно под кровлю Азеллы, всегда, впрочем, с лицом измененным, благодаря Магистрианову искусству. А потому мы хорошо его знали, ибо Магистриан, как друг мой, не делал от меня тайны, что он рисовал другое лицо на лице Руфина, и мы не раз вме-

сте смеялись над этим византийским двулицьем. Знала об этом и гетера Азелла, так как гетеры, закрыв двери свои за гостями, часто беседуют с нами и, находя в нас, простых людях, и разум и сердце, любят в нас то, чего не встречают порою в людях богатых и знатных.

Азелла же, надо сказать, любила моего живописца, и любила его безнадежно, потому что Магистриан думал об одной Магне, чистый образ которой был с ним неразлучно. Азелла чутким сердцем узнала всю эту тайну и тем нежней и изящней держала себя с Магистрианом. Когда я и Магистриан оставались в доме Азеллы, при восходе солнца она, проводив своих гостей, часто говорила нам, как она которого из них понимает, и не скрывала от нас своего особенного презрения к Руфину. Она называла его гнусным притворщиком, способным обмануть всякого и сделать самую подлую низость, а Азелла всех хорошо понимала. Один раз после безумных трат коринфянина Ора она нам сказала:

– Это бедный павлин... Все его щиплют, и когда здесь бывает с ним вместе византиец Руфин, хорошо бы встряхивать Руфинову

епанчу.

Это значило, что Руфин мог быть и вор... Азелла никогда не ошибалась, и я и Магистриан это знали.

Но Птолемея и Альбина глядели на византийца своими глазами, а добрая дочь их была покорна родительской воле, и жребий ее был совершен. Магна сделалась женою Руфина, который взял ее вместе с богатым приданым, данным ей Птолемеем, и увез в Византию.

Глава двадцать первая

Птоломей и Альбина были скоро наказаны проком. Лицемерный Руфин оказался и небогат, и не столь именит, как выдавал себя в Дамаске, а главное, он совсем не был честен и имел такие большие долги, что богатое приданое Магны все пошло на разделку с теснившими его займодавцами. Скоро Магна очутилась в бедности, и приходили слухи, будто она терпит жестокую долю от мужа. Руфин заставлял ее снова выпрашивать серебро и золото у ее родителей, а когда она не хотела этого делать, он обращался с нею сурово. Все же, что присылали Магне ее родители, Руфин издерживал бесславно, совсем не думая об уменьшении долга и о двух детях, которые ему родились от Магны. Он, так же как многие знатные византийцы, имел в Византии еще и другую привязанность, в угоду которой обирал и унижал свою жену.

Это так огорчило гордого Птолемея, что он стал часто болеть и вскоре умер, оставя своей вдове только самые небольшие достатки. Альбина все повезла к дочери: она надеялась

спасти ее и потеряла все свои деньги на дары приближенным епарха Валента, который сам был алчный сластолюбец и искал случая обладать красивою Магной. Кажется, он имел на это согласие самого Руфина. Говорили, будто Руфин даже понуждал свою жену отвечать на исканье Валента, заклиная ее согласиться на это для спасенья семейства, потому что иначе Валент угрожал отдать Руфина со всею его семьею во власть его заимодавцев.

Альбина не вынесла этого и скоро переселилась в вечность, а Магна осталась с детьми в самой горестной бедности, но не предалась развращенным исканьям Валента. Тогда гневный вельможа Валент распорядился отдать всех их во власть заимодавцев.

Заимодавцы посадили Руфина в тюрьму, а детей его и бедную Магну взяли в рабство. А чтобы сделать это рабство еще тяжелее, они разлучили Магну с детьми и малюток ее отослали в село к скопцу-селянину, а ее отдали содержателю бесчестного дома, который обязался платить им за нее в каждые сутки по три златницы.

Напрасно вопияла ко всем бедная Магна и

у всех искала защиты. Ей отвечали: над нами над всеми закон. Закон наш охраняет многоимущих. Они всех сильнее в государстве. Если бы был теперь на своем месте наш прежний правитель Ермий, то он, как человек справедливый и милосердный, может быть вступился бы и не допустил бы этого, но он очудачел: оставил свет, чтобы думать только об одной своей душе. Жестокий старик! Пусть небо простит ему его отшельничье самолюбие.

Произнеся эти слова, скоморох заметил, что сидевший возле него пустынный вздрогнул и схватил Памфалона за руку. Памфалон спросил его:

– Что, ты о них сожалеешь, что ли?

– Да, я сожалею... сожалею... И о них и о себе сожалею, – отвечал Ермий. – Продолжай твою повесть. Памфалон стал продолжать.

Глава двадцать вторая

Содержатель бесчестного дома, чтобы избежать неприятного шума в столице и надежнее взять свои деньги, не стал держать Магну в Византии, а отправил ее в Дамаск, где ее все знали как самую благородную и недоступную женщину, а потому, без сомнения, теперь все устремится обладать ею.

Магну, как рабыню, стерегли зорко, и у нее были отняты все средства бежать. Она не могла и лишиться себя жизни, да она о самоубийстве и не помышляла, потому что она была мать и стремилась найти и спасти своих детей от скопца из неволи.

Так она под караулом и в закрытости была привезена в Дамаск, и на другой день, то есть именно в тот день, когда я скрывался, лежа на моем золоте, огласилось, что продающий Магну содержит ее у себя за плату по пяти златниц за каждые сутки. Получить ее может всякий, кто заплатит златницы.

Глава двадцать третья

Тот, кто взялся выручать за Магну златницы, конечно не медлил, чтобы собирать их с хорошим прибытком, и для того разослал зазывальщицу по всем богатым людям Дамаска, чтобы оповестить им, каким он роскошным владеет товаром.

Развращенные люди кинулись в дом продавца, и Магна весь день едва лишь спасалась слезами. Но к вечеру продавец стал угрожать снести с тем, кто взял ее детей, чтобы их оскопить, и она решилась ему покориться... И после этого силы ее оставили, и она крепко заснула и увидела сон: к ней кто-то тихо вошел и сказал ей: «Радуйся, Магна! ты сегодня обрела то одно, чего тебе во всю твою жизнь недоставало. Ты была чиста, но гордилась своей непорочностью, как твоя мать; ты осуждала других падших женщин, не вникая, чем они доведены были до падения. Это было ужасно, и вот теперь, когда ты сама готова пасть и знаешь, как это тяжело, теперь твоя противная Богу гордость сокрушилась, и теперь Бог сохранит тебя чистой».

И в это же самое время в дом, где заключалась Магна, постучался один застенчивый гость, который закрывал лицо свое простой епанчою, и, тихо позвав хозяина, сказал ему шепотом:

– Ах, я очень стыдлив, но умираю от страсти. Скорее введи меня к Магне – даю тебе десять златниц.

Продавец был рад, но, прежде чем ввести незнакомца к Магне, сказал ему:

– Я должен сказать тебе, господин, что эта женщина из знатного рода, и она стоит мне по кабале больших денег, которых я через нее не выручил, потому что она умела разжалобить всех, кого я вводил к ней. Не мое будет дело, если ты станешь слушать ее слова и тебя размягчат ее речи. Я свое золото должен иметь, потому что я человек бедный и взял ее за дорогую цену.

– Не беспокойся, – отвечал, продолжая скрывать лицо, незнакомец, – вот получи свои десять златниц, а я не таковский: я знаю, что значат женские слезы.

Продавец взял у него десять златниц и дернул шнур, который опрокинул медную чашу,

содержавшую медный же шар. Шар покати-
лся по холщовому желобу и, докатившись до
шатрового отделения Магны, звонко упал в
медный таз, стоявший у изголовья ее постеле-
ли. После чего продавец сейчас же повел го-
стя к Магне.

Глава двадцать четвертая

Незнакомец вошел в отдаленный покой, накуренный пистиком и амброй, и увидел здесь при цветочном фонаре лежащую Магну. Ее не разбудил удар в таз, потому что как раз в это время ей снился тот сон, где открывалось, что надменная сила ее отлетела и теперь она спасена за признание своей немощи.

Продавец упрекнул Магну, что она не слышала удара шара по тазу, и, указав ей на незнакомца, сказал грубо:

– Не притворяйся, будто не слышишь, что к тебе пущен шар! Вот кому я уступил всякую власть над тобою до утра. Будь умна и покорна. А если ты еще заставишь меня терпеть убытки, я передам тебя туда, где к тебе будут входить суровые воины, и от тех ты уже не дождешься пощады.

И, сказав это, продавец взял шар и вышел, а гость затворил за ним и, оборотясь, тихо молвил Магне:

– Не бойся, злополучная Магна, я пришел, чтобы спасти тебя. – И он сбросил свой плащ.

Магна узнала Магистриана и зарыдала.

– Оставь слезы, прекрасная Магна. Теперь не время, чтоб лить их и отчаиваться. Успокойся и верь, что если небо спасало тебя до сего часа, то теперь твое избавление уже несомненно, если ты только согласна сама помогать мне, чтобы я мог тебя выручить и вернуть тебя детям и мужу.

– Согласна ли я! – воскликнула Магна. – О, добрый юноша, разве в этом возможно сомнение!

– Так поспеши же скорее делать, что я тебе скажу: теперь я отвернусь от тебя – и давай как можно скорее переменимся платьем.

И вот Магна надела на себя тунику, и епанчу, и все, что имел на себе мужское Магистриан, а он сказал ей:

– Не медли, спасайся! закрой епанчой твое лицо точно так, как вошел сюда я, и смело иди из этого дома! Твой презренный хозяин сам тебя выведет за свои проклятые двери.

Магна так и сделала и благополучно вышла, но тотчас же, выйдя, стала сокрушаться: куда ей бежать, где скрыться, и что будет с бедным юношей, когда завтра обман их от-

кроют? Магистриан подвергнется истязаниям, как разрушитель заимодавного права; он, конечно, не имеет столько, чтобы заплатить весь долг, за который отдана в кабалу Магна, и его навеки посадят в тюрьму и будут его мучить, а она все равно не может явиться к своим детям, потому что ей нечем выкупить их из кабалы.

И вот тут этой женщине пришла в голову мысль, которая навсегда лишила меня возможности исправить мой путь и вести вперед добропорядочную жизнь.

Глава двадцать пятая

Когда Магна открыла мне свои бедствия и рассказала об опасности, которой подвергался за нее Магистриан, передо мною точно разверзлась бездна. Я знал, что у Магистриана не могло быть десяти литр золота, которые взнес он за Магну и которые все равно не могли избавить ее от ее унижения, ибо не составляли цены всей ее кабалы и ничего не оставляли на выкуп ее детей от скопца в Византии. Но где, однако, Магистриан мог взять и эти златницы? Он работал в доме Азеллы, где всегда был ларец с сокровищами этой без ума влюбленной в него гетеры... И ужас объял мою душу... Я подумал: что если любовь к бедной Магне довела его до безумия, и он похитил ларец, и имя Магистриана отныне бесчестно: *он вор!* А бедная Магна, продолжая оглашать воздух стонами, возвратилась опять к тем же словам, с которых начала, когда неожиданно вошла в мое жилище.

– Памфалон! – вопияла она, – я слышала, что ты разбогател, что какой-то гордый коринфянин дал тебе несметные деньги. Я при-

шла продать себя тебе, возьми меня к себе в рабыни, но дай мне денег, чтоб выкупить из неволи моих детей и спасти погибающего за меня Магистриана.

Отшельник! ты отжил жизнь в пустыне, и тебе, быть может, непонятно, какое я чувствовал горе, слушая, что отчаяние говорит устами этой женщины, которую я знал столь чистой и гордой своею непорочностью! Ты уже взял верх над всеми страстями, и они не могут поколебать тебя, но я всегда был слаб сердцем, и при виде таких страшных бедствий другого человека я промотался... я опять легкомысленно позабыл о спасении своей души.

Я зарыдал и сквозь рыдания молвил:

– Ради милости божией умолкни, несчастная Магна! Сердце мое не может этого вынести! Я простой человек, я скоморох, я провожу мою жизнь среди гетер, празднотлюбцев и мотов, я дегтярная бочка, но я не куплю себе того, что ты предлагаешь мне в безумье от горя.

Но Магна так ужасно страдала, что не поняла меня вовсе.

– Ты отвергаешь меня! – воскликнула она с ужасом. – О, я несчастная! где мне взять золота, чтобы избавить от изуродования моих детей? – и она заломила над головою руки и упала на землю.

Это исполнило меня еще большего ужаса... Я задрожал, увидя, как ее унизило горе до того, что она, уже словно счастья, искала, чтобы кто-нибудь купил у нее ее ласки.

Глава двадцать шестая

Я поспешил ее утешить.
– Нет, – закричал я, – это вовсе не то, что будто я тебя отвергаю. Я тебе друг и докажу тебе это моею готовностью помочь твоему горю. Только не говори более, для чего ты пришла сюда. Разрушь скорей это плетение волос, через которое ты стала походить на гетеру; смой с своих плеч чистой водою этот аромат благовонного нарда, которым их покрыли люди, желавшие твоего позора, а потом скажи мне: сколько именно должен муж твой.

Она вздохнула и тихо промолвила:

– Десять тысяч златниц.

Я видел, что ее обманули: богатство, которое бросил мне расточительный Ор, было ничтожно для того, чтобы заплатить долг ее и выкупить детей.

Магна молча встала и, подняв рукою сброшенную епанчу Магистриана, хотела снова покрыть свою голову.

Я догадался, что она хочет уйти от меня с нехорошею целию, и воскликнул:

– Ты хочешь уйти, госпожа Магна?

– Да, я возвращусь снова туда, откуда пришла.

– Ты хочешь освободить Магистриана!

Она только молча кивнула головой в знак согласия.

Я ее остановил насильно.

– Не делай этого, – сказал я. – Это буде! напрасно. Магистриан так благороден и так тебе предан, что он оттуда не выйдет, а ты своим возвращением только увеличишь смятение. У меня всего есть двести тридцать златниц... Это все, что я получил от коринфянина Ора. Если думают, что у меня есть более, то это или сочинила молва, или нахвастал сам Ор пустохвальный. Но все двести тридцать златниц ты должна считать за свои. Не возражай мне, госпожа Магна, не возражай мне против этого ни одного слова! Это золото твое, но надо достать еще много, чтобы составило долг твоего мужа. Я не знаю, где больше взять, но ночь пока еще только в начале... Магистриан до утра безопасен. Твой продавец уверен, что вы теперь слились в объятьях. Ты оставайся у меня и будь спокойна. Моя Акра

до тебя никого без меня не допустит, а я сейчас извещу о твоём несчастье твоих имениных подруг: Таору, Фотину и Сильвию-деву, благочестье которой известно Дамаску... Их слуги все меня знают и за дары меня пустят к своим господам. Они богаты и целомудренны, и они не пожалеют золота, и дети твои будут выкуплены.

Но Магна живо меня перебила:

– Не тревожь, Памфалон, ни Таоры, ни Фотины, ни девственной Сильвии – все они ничего для твоей просьбы не сделают.

– Ты ошибаешься, – возразил я. – Таора, Сильвия и Фотина – благочестивые женщины, они преследуют всякий разврат, и по их слову у нас уже выслали многих гетер из Дамаска.

– Это ничего не значит, – отвечала Магна и открыла мне, что прежде чем бедствия ее семейства достигли до нынешней меры, она уже обращалась с просьбою к названным мною высоким гражданам, но что все они оставили ее просьбы втуне.

– А как теперь, – прибавила она, – ко всему этому присоединился еще позор, до которого

дошла я, то всякие просьбы к ним им будут даже обидны. Я сама была такова ж, как они, и знаю, что не от них может прийти избавление падшей.

– Ну, все равно, жди у меня, что нам пошлет милосердное небо, – сказал я и, погасив лампу, запер вход в мое жилище, в котором Магна осталась под защитой Акры, а я во всю силу бегом понесся по темным проходам Дамаска.

Глава двадцать седьмая

Я не послушался Магны и проник, с помощью слуг, к Таоре, Сильвии и к Фотине... И стыжуся вспоминать, что я от них слышал... Магна была права во всем, что мне о них говорила. Слова мои только приводили в пламенный гнев этих женщин, и я был изгоняем за то, что смел приходить в их дома с такою просьбой... Две из них, Таора и Фотина, велели прогнать меня с одним только напоминанием, что я стоил бы хороших ударов, но Сильвия-дева, та повелела бить меня перед ее лицом, и слуги ее били меня медным прутом до того, что я вышел от нее с окровавленным телом и с запекшимся горлом. Так, томимый жаждою, вбежал я на кухню гетеры Азеллы, чтобы попросить глоток воды с вином и идти далее. А куда идти – я сам не знал этого.

Но тут, едва я явился, под крытым переходом меня встретила наперсница гетеры, белокурая Ада. Она как будто нарочно шла с кувшином прохладительного напитка, и я сказал ей:

– Будь милосердна, прекрасная Ада, осве-

жи уста мои – я умираю от жажды.

Она улыбнулась и молвила с шуткой:

– Тебе ли теперь умирать, господин Памфалон, ты больше не беден и можешь иметь рабов, которые станут прохлаждать для тебя воду.

А я ей ответил:

– Нет, Ада, я, слава богу, опять уже не богат – я опять так же беден, как прежде, и вдобавок... должен признаться, – я сильно изранен.

Она мне нагнула сосуд, а я припал к питью, и в то время, когда я пил, а Ада стояла, склонившись ко мне, она заметила на моих плечах кровь, которая сочилась из рубцов, нанесенных мне медным прутом пред лицом девственной Сильвии. Кровь проступала сквозь тонкую тунику, и Ада в испуге вскричала:

– О, несчастный! ты взаправду в крови! На тебя, верно, напали ночные воры!.. О несчастный! Хорошо, что ты спасся от них под нашею кровлей. Остайся здесь и подожди меня немного: я сейчас отнесу это охлажденное питье гостям и вмиг возвращусь, чтоб обмыть

ТВОИ раны...

– Хорошо, – сказал я, – я тебя подожду.

А она добавила:

– Может быть, ты хочешь, чтоб я шепнула об этом Азелле? У нее теперь пирует с друзьями градоправитель Дамаска: он пошлет отыскать тех, кто тебя обидел.

– Нет, – отвечал я, – это не нужно. Принеси мне только воды и какую-нибудь чистую тунику.

Надев чистую одежду, я хотел идти к бывшему монаху Аммуну, который занимался всякими делами, и закабалить ему себя на целую жизнь, лишь бы взять сразу деньги и отдать их на выкуп от скопца детей Магны.

Ада скоро возвратилась и принесла все, что мне было нужно.

Но она также сказала обо мне и своей госпоже, а это повело к тому, что едва Ада обтерла прохладною губкою мои раны и покрыла мои плечи принесенною ею льняной туникой, как в переходе, где я лежал на полу, прислонясь боком к дереву, показалась в роскошном убранстве Азелла.

Глава двадцать восьмая

Азелла вся была в золоте и в перлах, из которых один стоил огромной цены. Этот редкостный перл был подарен ей большим богачом из Египта.

Азелла подошла с участием ко мне и заставила меня рассказать ей все, что со мною случилось. Я ей стал рассказывать вкратце и когда дошел до бедствия Магны, то заметил, что глаза Азеллы стали серьезны, а Ада начала глядеть вдаль, и по лицу ее тоже заструились слезы.

Тогда я подумал: вот теперь время, чтобы открыть Магистрианову тайну, и вдруг неожиданно молвил:

– Азелла, это ли все драгоценности, которые ты имеешь?

– Нет, это не все, – отвечала Азелла. – Но какое тебе до этого дело?

– Мне большое есть дело, и я тебя умоляю: скажи мне, где ты их сохраняешь и все ли они целы?

– Я храню их в драгоценном ларце, и все они целы.

– О, радость! – вскричал я, позабыв всю мою боль. – Все цело! Но где ж взял десять литр золота Магистриан?!

– Магистриан?!

– Да.

И когда я стал рассказывать, что сделал Магистриан, Азелла стала шептать:

– Вот кто истинно любит! Моя Ада видела, как он вышел из дома Аммуна... Я все понимаю: он продал Аммуну себя в кабалу, чтобы выпустить Магну!

И гетера Азелла начала тихо рыдать и обирать с своих рук золотые запястья, ожерелья и огромный перл из Египта и сказала:

– Возьми все это, возьми и беги, как можно скорее возьми от скопца детей бедной Магны, пока он их не изуродовал!

Я так и сделал: я соединил все мои деньги, которые дал мне Ор коринфянин, с тем, что получил от гетеры, и отправил с ними Магну выкупать из неволи ее мужа и двух сыновей. И все это совершилось успешно, но зато исправление жизни моей и с ней вся надежда моя на блаженную вечность навсегда разлетелись. Так я теперь и остаюсь скоморохом – я

смехотвор, я беспутник – я скачу, я играю, я бью в накры, свищу, перебираю ногами и трясу головой. Словом: я бочка, я дегтярная бочка, я негодная дрянь, которую ничем не исправишь.

Вот тебе и весь сказ мой, отшельник, о том, как я утратил улучшение жизни и как нарушил обет, данный богу.

Глава двадцать девятая

Ермий встал, протянул руку к своей козьей смилоти и молвил скомороху:

- Ты меня успокоил.
- Полно шутить!
- Ты дал мне радость.
- В чем она?
- Вечность впусте не будет.
- Конечно!
- А почему?
- Не знаю.

– Потому, что перейдут в нее путем милосердия много из тех, кого свет презирает и о которых и я, гордый отшельник, забыл, залюбовавшись собою. Иди к себе в дом, Памфалон, и делай, что делал, а я пойду дальше.

Они поклонились друг другу и разошлись. Ермий пришел в свою пустыню и удивился, увидав в той расщелине, где он стоял, гнездо воронов. Жители деревни говорили ему, что они отпугивали этих птиц, но они не оставляют скалы.

– Это так и должно быть, – ответил им Ермий. – Не мешайте им вить свои гнезда. Пти-

цы должны жить в скале, а человек должен служить человеку. У вас много забот; я хочу помогать вам. Хил я, но стану делать по силам. Доверьте мне ваших коз, я буду их выгонять и пасти, а когда возвращусь с стадом, вы дайте мне тогда хлеба и сыра.

Жители согласились, и Ермий начал гонять козье стадо и учить на свободе детей крестьян. А когда все село засыпало, он выходил, садился на холм и обращал свои глаза в сторону Дамаска, где он узнал Памфалона. Старец теперь любил думать о добром Памфалоне, и всякий раз, когда Ермий переносился мыслью в Дамаск, мнилось ему, что он будто видит, как скоморох бежит по улицам с своей Акрой и на лбу у него медный венец, но с этим венцом заводилося чудное дело: день ото дня этот венец все становился ярче и ярче, и, наконец, в одну ночь он так засиял, что у Ермия не хватило силы смотреть на него. Старик в изумлении закрыл даже рукою глаза, но блеск проникает отовсюду. И сквозь опущенные веки Ермий видит, что скоморох не только сияет, но воздымается вверх все выше и выше – взлетает от земли на воздух и

несется прямо к пылающей алой заре.

Куда он несется! Он испепелится, он там сторит. Ермий рванулся за Памфалоном, чтобы удержать его или чтобы по крайней мере с ним не расстаться, но в жарком рассвете зари между ними вдруг стала преграда... Это как бы частокол или решетка, в которой каждая жердь одна с другою не схожи. Ермий видит, что это какие-то знаки, – во весь небосклон большими еврейскими литерами словно углем и сажей напачкано слово: «самомнение».

«Тут мой предел!» – подумал Ермий и остановился, но Памфалон взял свою скоморошью епанчу, махнул ею и враз стер это слово на всем огромном пространстве, и Ермий тотчас увидел себя в несказанном свете и почувствовал, что он летит на высоте, держась рука за руку с Памфалоном, и оба беседуют.

– Как ты мог стереть грех моей жизни? – спросил Памфалона на полете Ермий. А Памфалон ему отвечал:

– Я не знаю, как я это сделал: я только видел, что ты затруднялся, а я захотел тебе пособить, как умел. Я всегда все так делал, пока был на земле, и с этим иду я теперь в другую

обитель.

Дальнейших речей их не слышал уже писатель сказанья. Прохладное облако густою тенью застлало дальнейший их след от земли, и с румяной зарею заката вместе слились их отшедшие души.

Впервые опубликовано – журнал «Исторический вестник», 1887.